



ТАК БЫЛО НУЖНО

Дочь находит архивы
собственного отца —

человека, который методично
создавал язык, оправдывающий
геноцид, расчленение стран,
травлю «сектантов»
и массовые репрессии.

Его формулировки, написанные
спокойным академическим почерком,
сегодня звучат из каждого динамика.

Она должна решить:
принять наследство или уничтожить его.

Ларс Винтер

Так было нужно

Ларс Винтер

Настоящее произведение является художественным. Все персонажи, события, организации и высказывания, описанные в книге, являются плодом авторского воображения. Любые совпадения с реальными людьми — живыми или умершими, а также с реальными событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными.

Оглавление

Пролог

Глава 1: Белградский зной

Глава 2: Сноска на странице 42

Глава 3: Язык как инструмент

Глава 4: Наследие Кюннета

Глава 5: Эксперт

Глава 6: Технология расчеловечивания

Глава 7: Институциональное молчание

Глава 8: Психология «заботы»

Глава 9: Желтые звезды нового времени

Глава 10: Экспорт ненависти

Глава 11: Зеркало

Глава 12: Механизм воспроизводства

Глава 13: Оправдание палача

Глава 14: Возвращение

Глава 15: Дома

Глава 16: Наследство

Пролог

Я помню его спину. Широкую, загорелую, с россыпью мелких родинок у правой лопатки. Мы плывем к буйкам, вода Адриатики держит нас, плотная и соленая, как ртуть. Мне шесть лет, и я не боюсь глубины, потому что его рука поддерживает меня под живот. Он говорит: «Дыши ровно. Пока ты дышишь ровно, ты не утонешь». Его голос спокойный, в нем нет ни тревоги, ни фальши. Это голос человека, который знает, как устроен мир, и гарантирует мою безопасность.

Отец умер три года назад, во сне, так же тихо и упорядоченно, как жил. На похоронах говорили о его порядочности, о его переводах, о том, как он любил порядок в книгах и мыслях. Никто не плакал навзрыд — скорбь была светлой, словно мы провожали человека, выполнившего свой долг до конца.

Я приехала в Белград не за памятью. Я приехала отдохнуть от цифр, отчетов и бесконечных московских дедлайнов. Сербия была для меня просто точкой на карте, страной с вкусной едой и теплым климатом. Я не знала языка, не знала истории, кроме школьных параграфов о Сараево и бомбардировках, которые казались мне далеким, закрытым архивом.

Всё изменила случайность. Скука жаркого полдня, кондиционер в номере отеля и стопка старых журналов на этажерке в лобби, которые я начала листать, ожидая такси. Мой взгляд, натренированный годами работы с большими данными, выхватил знакомое сочетание букв в сноске к статье о медийных стратегиях девяностых. Инициалы. Фамилия. Редкая фамилия.

Сначала я подумала — однофамилец. Потом увидела год рождения и профессию: «консультант по лингвистическому мониторингу».

Сейчас, сидя перед экраном ноутбука в съемной квартире на Дорчолле, я смотрю на отсканированный документ тридцатилетней давности. Это не приказ о расстреле. Это не донос. Это аналитическая записка. Текст о необходимости «санитарной обработки информационного поля» и «профилактике деструктивных социальных образований». Язык сухой, академический, стерильный.

Но я узнаю этот стиль. Я узнаю эти обороты. «В целях общественной безопасности...», «легитимная защита большинства...», «так было нужно для сохранения структуры...».

Я читаю текст, написанный рукой человека, который учил меня плавать и кататься на велосипеде. Человека, который никогда не повышал голос. И с каждым абзацем я чувствую, как соленая вода Адриатики заливает мне горло, но теперь меня никто не держит.

Самое страшное не в том, что он писал это тогда. Самое страшное в том, что я слышу эти же слова, с теми же интонациями и аргументами, прямо сейчас. Из телевизора в моей гостиной, из речей экспертов в моей стране, из утренних новостей.

Он не был чудовищем. Он был нормальным. И именно это пугает меня больше всего.

Глава 1: Белградский зной

Белград встретил меня плотным, осязаемым зноем. Это была не та влажная духота, от которой задыхаешься в тропиках, и не сухой, обжигающий ветер пустыни. Здешняя жара имела вес и текстуру. Она ложилась на плечи тяжелым шерстяным одеялом, пахла раскаленным асфальтом, жареным мясом и пылью, которая, казалось, висела в воздухе неподвижно с середины прошлого века.

Таксист, пожилой мужчина с глубокими морщинами, прорезавшими загорелое лицо, что-то весело говорил мне на смеси сербского и английского, активно жестикулируя одной рукой, пока другая небрежно придерживала руль старого «Мерседеса». Я кивала, улыбалась, но не вслушивалась. Мой мозг, привыкший за последние десять лет к непрерывному потоку данных, автоматически фильтровал входящую информацию, отсекая лишнее. Сейчас лишним было всё: история города, названия улиц, политическая обстановка. Я была в отпуске. Я была «оффлайн» в самом глубоком, экзистенциальном смысле этого слова.

Мы проезжали мимо зданий, похожих на бетонные соты — брутализм, который в Москве казался бы подавляющим, здесь выглядел странно органично, словно эти гигантские серые блоки выросли из земли сами по себе. Зелень пробивалась сквозь бетон, плющ обвивал балконы, на которых сушилось белье. Город казался живым, хаотичным и абсолютно безопасным.

Безопасность. Это было ключевое слово, которое я искала, выбирая маршрут. Мне не нужны были приключения. Мне нужна была тишина внутри черепной коробки.

Я работаю с большими данными. Моя профессия — искать закономерности там, где обычный человек видит хаос. Я анализирую поведение потребителей, социальные тренды, миграцию интересов. Мой мир — это таблицы, графики и тепловые карты. Я знаю, что люди предсказуемы. Я знаю, что любой спонтанный поступок, если увеличить масштаб выборки до миллиона человек, становится частью статистической погрешности или зарождающегося тренда. Эта работа научила меня цинизму, который принято называть профессионализмом: я перестала видеть за цифрами лица. Остались только паттерны.

Но сейчас, глядя в окно такси на мелькающие витрины пекарен и уличных кафе, я чувствовала, как профессиональная деформация отступает. Здесь, в Сербии, у меня не было никаких связей. Никаких ассоциаций. Балканы для меня были белым пятном на карте, заполненным лишь смутными школьными воспоминаниями о каких-то конфликтах, которые давно закончились и поросли быльем. Это была чужая история, чужая боль и чужая жизнь. И именно это делало город идеальным убежищем.

Отец всегда говорил: «Чтобы понять систему, нужно выйти за её пределы».

Воспоминание об отце пришло внезапно, вызванное, вероятно, запахом крепкого табака, который курил таксист. Отец курил редко, но именно такой табак — терпкий, без ароматизаторов. Он вообще не любил ничего лишнего. Ни в еде, ни в одежде, ни в мыслях.

В моей памяти он сохранился как эталон спокойной, уверенной рациональности. Он не был сухим педантом, нет. Он был теплым. Но его тепло было упорядоченным, как хорошо натопленная печь, а не как лесной пожар. Я помню, как мне было семь лет, и мы собирались в первый большой поход. Я бегала по квартире, запихивая в рюкзак всё подряд: любимую куклу, три книги, пакет с конфетами. Рюкзак не закрывался, я начинала хныкать, чувствуя подступающую истерику.

Отец подошел, сел передо мной на корточки — так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне — и спокойно, без тени раздражения, выложил всё содержимое на пол.

— Смотри, — сказал он своим ровным, глубоким голосом. — Хаос — это просто отсутствие структуры. Давай разделим вещи на категории. Первая: то, без чего мы не сможем спать и есть. Вторая: то, что защитит нас от дождя. Третья: развлечения. Но для третьей категории у нас есть лимит места.

Он не запрещал мне брать куклу. Он просто показал, что если я возьму куклу, то не поместится дождевик. И предложил выбор. Он всегда предлагал выбор, предварительно расчертив поле вариантов так, что правильное решение становилось очевидным, неизбежным.

— Ты должна понимать последствия, — говорил он, аккуратно сворачивая мой спальный мешок в тугой валик. — Свобода — это не когда ты делаешь что хочешь. Свобода — это когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь.

Тогда, в семь лет, это казалось мне проявлением высшей любви. Он не кричал, не наказывал. Он объяснял. Он делал мир понятным, предсказуемым и безопасным. С ним нельзя было заблудиться, потому что у него всегда была карта — и бумажная в кармане, и ментальная в голове.

Такси остановилось у старого дома в районе Дорчол. Водитель помог мне выгрузить чемодан, пожелал хорошего отдыха и уехал, оставив меня один на один с раскаленным тротуаром и тяжелой деревянной дверью подъезда.

Квартира, которую я сняла, была просторной, с высокими потолками и паркетом, который скрипел на разные голоса при каждом шаге. Хозяйка, милая женщина лет пятидесяти, оставила ключи под ковриком — уровень доверия, немыслимый для Москвы, но здесь, видимо, являющийся нормой. Внутри пахло старой бумагой и лавандой. На стенах висели черно-белые фотографии города, на полках стояли ряды книг на языке, который я не понимала. Кириллица, но другая. Знакомые буквы складывались в незнакомые слова, и это создавало странное ощущение: словно ты пытаешься читать во сне.

Я приняла душ, смывая с себя дорожную пыль, и вышла на балкон. Солнце клонилось к закату, окрашивая черепичные крыши в густой багрянец. Внизу, в кафе на углу, звенели бокалы, слышался смех. Люди жили своей жизнью — расслабленной, немного ленивой, пропитанной гедонизмом южного вечера.

Я смотрела на них сверху вниз, как привыкла смотреть на данные. Вот компания студентов — громкие, яркие. Вот пожилая пара — медленные движения, привычное

молчание. Вот туристы с картами — растерянные взгляды. Я искала паттерны. Это происходило автоматически. Мой мозг, даже на отдыхе, пытался структурировать реальность.

Но здесь реальность сопротивлялась. В ней было слишком много воздуха, слишком много необязательных деталей.

Отец любил повторять: «Детали важны только тогда, когда они укладываются в общую картину. Если деталь противоречит системе, нужно проверить: либо деталь ложная, либо система требует корректировки. Но чаще всего — деталь ложная».

Он был переводчиком и консультантом. Я знала это с детства, но никогда не вдавалась в подробности. Для меня его работа заключалась в сидении за письменным столом, в стуке клавиш печатной машинки (позже — компьютера), в стопках словарей и бумаг. Он переводил тексты. Иногда ездил в командировки. Когда я спрашивала, о чем он пишет, он отвечал просто: «Я помогаю людям понимать друг друга. Слова имеют разные значения в разных культурах. Моя задача — найти правильные слова, чтобы не было конфликтов».

Это звучало благородно. Миротворец. Человек, который строит мосты.

Я вспомнила, как однажды, когда мне было лет двенадцать, я нашла у него на столе странную схему. Это были круги, пересекающиеся линии, стрелки и подписи на иностранном языке.

— Что это, папа? — спросила я. Он оторвался от книги, снял очки и улыбнулся той самой, теплой и надежной улыбкой.

— Это модель, милая. Модель того, как общество реагирует на информацию.

— Как в физике? — Почти. Люди думают, что они принимают решения сами. Но на самом деле они реагируют на сигналы. Если правильно подать сигнал, можно избежать паники. Или, наоборот, мобилизовать людей на хорошее дело. Это называется социальная гигиена.

«Социальная гигиена». Тогда это словосочетание показалось мне скучным, медицинским. Как мытье рук перед едой. Папа заботился о том, чтобы общество было чистым и здоровым. Чтобы в нем не было микробов хаоса.

Сейчас, стоя на балконе в Белграде, я подумала, что мне не хватает его спокойствия. Моя собственная жизнь в последние годы напоминала бесконечную гонку.

Дедлайны, отчеты, презентации, снова дедлайны. Я была успешна, да. Но была ли я спокойна? Нет. Внутри меня постоянно гудела тревога, как высоковольтная линия под напряжением.

Я спустилась вниз, чтобы купить воды и фруктов. Улица встретила меня шумом. Я шла, вслушиваясь в речь прохожих. Сербский язык звучал мягко, с певучими интонациями. В нем не было агрессии. Даже когда двое мужчин на перекрестке начали громко спорить из-за парковки, это выглядело скорее как театральная постановка, чем как реальный конфликт. Они размахивали руками, кричали, а через минуту уже хлопали друг друга по плечам и смеялись.

Я зашла в маленький магазинчик. Продавец, грузный мужчина в несвежей майке, медленно пробивал мои покупки.

— Русская? — спросил он, не поднимая глаз.

— Да.

— Хорошо. Русские — братья. Он сказал это буднично, как констатацию факта, не требующую эмоционального отклика. Просто поставил галочку в своей внутренней классификации. Я — «своя». Это было приятно, но и немного странно. Я ничего не сделала, чтобы стать «своей». Я просто родилась в определенном месте и говорила на определенном языке.

Отец бы одобрил такую классификацию. Он ценил ясность принадлежности. «Человек не может быть ничьим, — говорил он. — Ты всегда часть чего-то большего. Семьи, нации, культуры. Это твоя опора. Если ты откажешься от корней, тебя сдует первым же ветром».

У него самого корни были здесь, в этих краях. Но он никогда не акцентировал на этом внимание. Он был абсолютно, стопроцентно русским интеллигентом. Сербское происхождение его отца, моего деда, было просто биографическим фактом, не влияющим на нашу жизнь. Мы не готовили плескавицу, не слушали балканскую музыку, не обсуждали политику Югославии. Когда в девяностых по телевизору показывали репортажи о бомбардировках, отец просто выключал звук или переключал канал.

— Зачем смотреть на страдания, если ты не можешь помочь? — говорил он. — Это иррационально. Эмоции без действия разрушают психику.

Он берег меня. Берег маму. Он создавал вокруг нас кокон нормальности, непроницаемый для внешних ужасов. И я была ему благодарна. Благодаря ему я выросла с ощущением, что мир — это безопасное место, где всё можно объяснить и исправить, если приложить достаточно ума и терпения.

Вернувшись в квартиру, я разложила покупки. Вода, персики, сыр, бутылка местного вина. Всё было простым, настоящим. Я села в кресло у открытого окна, налила вина и почувствовала, как напряжение наконец начинает отпускать.

В комнате темно. Тени от уличных фонарей ползли по стенам, создавая причудливые узоры. В углу комнаты стоял массивный книжный шкаф, забитый книгами и журналами, оставшимися от хозяев или прежних жильцов. Я подошла к нему не из любопытства, а от скуки. Интернет в квартире работал с перебоями, а мой цифровой детокс требовал какого-то аналогового занятия.

Я провела пальцем по корешкам. Большинство книг были на сербском, но попадались и на английском, и даже на русском — старая классика, забытые детективы. На нижней полке лежала стопка журналов. Толстые, гляцевые, с пожелтевшими от времени страницами. Судя по датам на обложках — начало девяностых.

Я вытащила один наугад. Это был не модный журнал, а что-то вроде общественно-политического альманаха. На обложке — черно-белое фото: люди на площади, флаги, какие-то лозунги. Лица людей были искажены эмоциями — то ли радостью, то ли гневом.

Я вернулась в кресло, открыла журнал. Текст был на сербском, но многие слова были понятны интуитивно. «Демократия», «Нация», «История», «Кризис». Я листала страницы, рассматривая фотографии. Разрушенные дома. Солдаты. Политики в костюмах.

Это было то самое прошлое, от которого я была так надежно изолирована в детстве. Война, которая прошла мимо меня. Сейчас, глядя на эти снимки, я не чувствовала ужаса. Только отстраненный интерес исследователя. Это было давно. Это закончилось. Теперь здесь ходят туристы и пьют кофе.

Мой взгляд зацепился за статью в середине журнала. Она была проиллюстрирована не фотографиями, а графиками. Столбики, диаграммы,

схемы. Что-то до боли знакомое. Я присмотрелась. Это была аналитика. Статистика миграции? Или распределение ресурсов?

Я не могла прочитать текст целиком, но структура подачи материала была мне профессионально близка. Четкое деление на пункты. Логические выводы. Ссылки на источники. Кто-то пытался объяснить хаос войны языком цифр и рациональных аргументов.

Я улыбнулась. Даже тогда, посреди безумия, были люди, которые пытались сохранить рассудок и порядок. Люди, похожие на меня. Похожие на моего отца.

Я отложила журнал, но потом, повинувшись какому-то смутному импульсу, взяла его снова. Что-то в верстке, в манере подачи материала показалось мне странно знакомым. Не содержание, нет. Стил. Интонация, которая пробивалась даже сквозь незнакомый язык. Спокойная, уверенная, дидактическая интонация.

«Так было нужно». Эта фраза всплыла в голове голосом отца. Он говорил так, когда мы переезжали. Когда меняли школу. Когда усыпляли старую собаку. «Так было нужно, милая. Это рациональное решение. Боль пройдет, а правильность поступка останется».

В комнате стало совсем темно. Я включила торшер. Желтый круг света выхватил из полумрака журнальный столик, бокал с вином и старый альманах. Я чувствовала себя абсолютно спокойно. Я была в безопасности, в уютной квартире, в прекрасном городе.

Я еще не знала, что этот покой — такая же иллюзия, как и порядок в моих таблицах. Я не знала, что прошлое не умирает, оно просто меняет форму, превращаясь из горячего свинца в типографский свинец, из криков — в сноски, из крови — в чернила.

Я просто сидела и смотрела на страницу, где среди плотного текста виднелась небольшая врезка с именами экспертов, работавших над материалом. Буквы были мелкими, смазанными плохой печатью. Я поднесла журнал ближе к глазам, чтобы разобрать шрифт.

Тишина в квартире стала звенящей. Где-то далеко, на улице, просигналила машина. Этот звук показался мне резким, как выстрел, но я не вздрогнула. Я просто смотрела на страницу, еще не понимая, что именно вижу, но уже чувствуя, как внутри, в животе, начинает сворачиваться холодный, липкий узел. Тот самый узел,

который возникает, когда в идеальном массиве данных ты вдруг обнаруживаешь аномалию, способную обрушить всю модель.

Я сделала глоток вина. Оно показалось мне кислым.

Глава 2: Сноска на странице 42

Утро в Белграде наступает не с рассветом, а со звуком. Сначала это ленивое шарканье дворников, сгребаящих пыль, которая, кажется, никогда не исчезает с этих улиц. Потом — звон кофейных чашек в кафе внизу, металлический лязг поднимаемых жалюзи на витринах пекарен. И только потом, словно неохотно, в комнату вползает свет — густой, желтый, уже нагретый, несмотря на ранний час.

Я проснулась с ощущением тяжести в затылке, какое бывает после долгого перелета или слишком глубокого, без сновидений, сна. На прикроватной тумбочке стоял недопитый бокал вина, на дне которого за ночь образовался темный осадок. Рядом лежал тот самый журнал. Альманах «Социальные перспективы», 1992 год.

Вчерашний вечер казался мне теперь странной галлюцинацией, вызванной усталостью и алкоголем. Я помнила, как в полумраке мне померещилась знакомая фамилия. Мозг, настроенный на поиск паттернов, сыграл со мной злую шутку, подставив привычное сочетание букв в чужой текст. Это называется апофения — способность видеть структуру в случайных данных. Профессиональная деформация.

Я встала, прошла на кухню, наступая на скрипучие паркетины. Мне нужен был кофе. Крепкий, черный, без сахара. Пока турка закипала на плите, я смотрела в окно. Город просыпался. Женщина на балконе напротив поливала герань. Мужчина в майке курил, опираясь локтями на перила. Все было нормальным. Абсолютно, невыносимо нормальным.

С чашкой в руке я вернулась в комнату. Журнал лежал там же, где я его оставила. Серый, невзрачный, с плохой полиграфией, характерной для начала девяностых, когда экономили на всем, кроме идей. Я села в кресло, сделала глоток кофе и, чувствуя себя немного глупо, открыла страницу сорок два.

Никакой ошибки не было.

Врезка внизу страницы, набранная мелким шрифтом — кегль не больше восьмого. Список участников рабочей группы, подготовившей материал под названием «Лингвистические маркеры социальной стабильности в полиэтнических регионах».

Руководитель группы: д-р М. Стоянович. Методология: К. Илич. Внешний консультант по семантическому анализу: А.В. Волков.

Буквы были четкими, черными, равнодушными. А.В. Волков. Александр Викторович Волков. Мой отец.

Я провела пальцем по строчке. Бумага была шершавой, дешевой. Чернила слегка мазались, оставляя на подушечке пальца серый след. Это было физическое доказательство, которое нельзя было списать на игру света.

Первая реакция была предсказуемой: отрицание. Волков — распространенная фамилия. Сколько Волковых могло быть в академической среде в начале девяностых? Сотни. Тысячи. Но инициалы совпадали. И профессия — «семантический анализ». Отец был филологом, переводчиком, специалистом по славянским языкам. Это была его сфера.

«Это просто однофамилец», — сказала я вслух. Мой голос прозвучал в пустой комнате плоско и неубедительно.

Я взяла телефон, чтобы проверить. Ввела в поиск название статьи. Ничего. Интернет молчал. Эти тексты, напечатанные в смутное время в полуразвалившейся стране, не были оцифрованы. Они остались бумажным прахом в библиотеках и частных коллекциях, забытые всеми, кроме историков.

Я начала читать саму статью. Мне нужно было понять контекст. Если это действительно он, то что именно он консультировал?

Текст был написан на сербскохорватском — том самом языке, который теперь распался на несколько отдельных языков, как и сама страна. Я понимала не все, но общий смысл улавливала благодаря сходству с русским и знанию лингвистической терминологии.

Я ожидала увидеть пропаганду. Призывы. Ненависть. Что-то, что соответствовало бы моим школьным представлениям о балканских войнах — кровь, почва, враги.

Но текст был сухим. Это была научная статья.

«В условиях повышенной социальной турбулентности, — гласил первый абзац, — ключевой задачей становится стабилизация понятийного аппарата. Субъект должен четко идентифицировать свою принадлежность к группе для снижения уровня тревожности».

Я перечитывала эти строки. Никакой крови. Никаких призывов убивать. Только «стабилизация», «идентификация», «снижение тревожности». Язык заботы. Язык порядка.

Дальше шли графики. Распределение частотности употребления определенных слов в прессе. «Свой», «чужой», «угроза», «защита». Авторы анализировали, как изменение лексики влияет на общественное настроение.

«Введение четких семантических границ, — говорилось в разделе, где стояла сноска с фамилией отца, — позволяет локализовать конфликтный потенциал и перевести его в управляемое русло. Профилактика хаоса требует жесткой категоризации».

Я отложила журнал. Руки слегка дрожали.

Это было так похоже на него. На его манеру говорить. На его веру в то, что любое явление можно объяснить, разложить на составляющие и упорядочить.

Я вспомнила один случай из детства. Мне было лет десять. Мы собирались лететь в отпуск, и отец проверял документы. Он разложил на столе паспорта, билеты, свидетельство о рождении, страховки. Все лежало в строгом порядке, в прозрачных файлах.

— Пап, зачем ты проверяешь это в третий раз? — спросила я, болтая ногами. — Мы же ничего не забыли.

Он поднял на меня глаза поверх очков. Взгляд был спокойным, но серьезным.

— Проверка — это не вопрос доверия к себе, — сказал он. — Это вопрос уважения к системе. Система работает только тогда, когда каждый элемент находится на своем месте. Если в документах ошибка, это создает сбой. Сбой вызывает задержку. Задержка вызывает раздражение. Раздражение приводит к конфликту. Видишь цепочку?

— Вижу, — вздохнула я. — Мы проверяем документы не потому, что боимся. А потому, что хотим, чтобы мир вокруг нас работал правильно. Порядок — это форма вежливости.

«Порядок — это форма вежливости». Эта фраза застряла у меня в голове на годы. Отец верил, что хаос — это зло, а порядок — это благо. Любой порядок лучше хаоса.

И вот теперь я видела его имя под текстом, который предлагал наводить порядок в головах людей с помощью «жесткой категоризации».

Я снова взяла журнал. Мне нужно было найти доказательства, что это не он. Или что это он, но контекст безобиден. Может быть, он просто перевел пару абзацев? Может быть, его включили в список «для веса», как иностранного специалиста, даже не спросив? Такое бывает. В академической среде это сплошь и рядом.

Я начала листать журнал дальше, ища другие упоминания. Страница за страницей. Сводки конференций, рецензии, реклама каких-то банков, которых давно не существует.

На шестьдесят восьмой странице я нашла еще одну сноску. Это был отчет о круглом столе «Информационная гигиена в эпоху перемен», прошедшем в Белграде в мае 1991 года. В списке выступающих значилось: *«А. Волков, Институт славяноведения (Москва). Тема доклада: "Эвфемизмы как инструмент социальной анестезии"»*.

Май 1991 года.

Я закрыла глаза и попыталась вспомнить тот май. Мне было пять лет. Я помнила дачу. Помнила, как цвела сирень. Помнила маму, которая красила рамы на веранде. А папа?

Папы не было.

В памяти всплыл обрывок разговора. Мама говорит кому-то по телефону: «Саша в командировке. Да, опять. Какая-то конференция. Говорит, очень важно. Там сейчас все меняется, интересно».

«Интересно».

Значит, он был здесь. Физически был здесь, в Белграде, за несколько месяцев до того, как все полетело в тартарары. Он стоял за кафедрой, поправлял очки и рассказывал о том, как использовать эвфемизмы для «социальной анестезии».

Что такое социальная анестезия? Это когда больно, но ты не чувствуешь? Или когда происходит что-то страшное, но это называют мягкими, обтекаемыми словами, чтобы никто не испугался?

«Ликвидация последствий». «Ограниченный контингент». «Вынужденная мера».

Я снова посмотрела на текст статьи. Он был написан языком, который я знала слишком хорошо. Это был мой профессиональный язык. Язык аналитика.

В своей работе я тоже использую термины, которые обезличивают людей. Я говорю «пользовательская база», «сегмент», «отток», «конверсия». Когда я пишу отчет о том, что продажи упали, я не пишу о людях, у которых нет денег. Я пишу о «снижении покупательской способности». Это тоже эвфемизм. Это тоже анестезия.

Но я продаю шампуни и подписки на онлайн-кинотеатры. А что продавали они?

Я почувствовала, как внутри поднимается волна протеста. Я не имею права судить. Я ничего не знаю. Это просто статья. Научная работа. Лингвистика. Отец любил язык. Он изучал, как слова влияют на реальность. Это нормально. Это его работа. Он не брал в руки автомат. Он не отдавал приказов. Он просто анализировал.

«Внешний консультант».

Это звучит так безобидно. Человек со стороны. Приехал, посмотрел, дал совет, уехал. Он не несет ответственности за то, как этот совет использовали. Если архитектор проектирует мост, а с этого моста потом кого-то сбрасывают — виноват ли архитектор?

Нет. Конечно, нет.

Я встала и начала ходить по комнате. Четыре шага от окна до двери, четыре обратно. Паркет скрипел в такт моим мыслям.

Мне нужно было больше информации. Этот журнал — лишь фрагмент. Осколок мозаики, который я случайно нашла в пыли. Чтобы увидеть картину целиком, мне нужно найти остальные части.

Но где искать?

Я вспомнила, что видела вывеску библиотеки в паре кварталов отсюда. Национальная библиотека Сербии? Нет, слишком пафосно. Университетская библиотека? Возможно. Но скорее всего, такие материалы хранятся в архивах институтов.

Я подошла к ноутбуку. Мой отпуск закончился, так и не начавшись. Я открыла новый файл. Привычка все документировать сработала автоматически.

Файл: Волков А.В. / Белград 1990-1992. Источник 1: Альманах «Социальные перспективы», №4, 1992. Статус: Подтверждено участие в качестве консультанта. Тема: Семантический анализ, социальная стабильность.

Я смотрела на мигающий курсор. Мне было страшно. Не того страха, который бывает в темном переулке, а холодного, интеллектуального страха, когда понимаешь, что фундамент твоего мира дал трещину.

Отец был моим моральным компасом. Он был тем, кто объяснял мне, что такое хорошо и что такое плохо. Он учил меня, что ложь — это всегда усложнение, а правда — это простота.

«Правда экономит энергию, — говорил он. — Тебе не нужно запоминать, что ты соврала».

Если он участвовал в создании лжи — пусть даже сложной, научной, структурированной лжи — то, кем он был?

Я заставила себя успокоиться. Я аналитик. Эмоции — это шум. Факты — это сигнал. Пока у меня есть только один факт: его фамилия в журнале. Все остальное — мои домыслы. Может быть, его консультация заключалась в том, чтобы сказать: «Ребята, не делайте этого, это приведет к катастрофе». И его не послушали. А фамилию оставили.

Эта версия мне понравилась. Она была логичной. Она сохраняла образ отца чистым. Он был голосом разума в безумном мире. Он пытался помочь.

Я ухватила за эту мысль, как утопающий за соломинку. Конечно. Он предупреждал их. Он объяснял им последствия. Он же всегда говорил о последствиях.

Я быстро оделась. Шорты, футболка, сандалии. Взяла рюкзак, бросила туда журнал (я не могла оставить его здесь, это была улика), ноутбук и бутылку воды.

Мне нужно было в библиотеку.

На улице жара стала еще плотнее. Воздух дрожал над асфальтом. Я шла быстро, почти бежала, не замечая красоты старых фасадов. Мой взгляд теперь выхватывал другое.

Вот мемориальная доска на стене дома. Какие-то имена, даты. 1990-е. Я не стала читать. Вот книжный развал на тротуаре. Старые книги, карты. Я скользнула взглядом по обложкам. «История Югославии». «Распад». «Война».

Раньше я бы прошла мимо, не задержав внимания. Теперь каждое слово казалось мне знаком.

Я нашла библиотеку философского факультета. Старое здание, прохладный холл, запах пыли и знаний. Вахтер на входе лениво посмотрел на меня, но не остановил. Видимо, мой вид — рюкзак, очки, сосредоточенное лицо — служил пропуском.

Я поднялась в читальный зал. Там было тихо. Несколько студентов сидели за столами, уткнувшись в книги. Я подошла к каталогу. Деревянные ящички с карточками. Аналоговый поиск. Отец любил такие каталоги. Он говорил, что поиск информации руками помогает думать.

Я искала раздел «Периодика 1990-1995». Социология. Политология. Лингвистика.

Пальцы перебирали пожелтевшие карточки. «Политика», «Полемос», «Социолошки преглед». Я выписывала шифры на клочок бумаги.

Библиотекарь, строгая женщина с пучком седых волос, приняла мой заказ без эмоций. Через двадцать минут передо мной на столе выросла стопка журналов и сборников.

Я открыла первый. «Вестник политической культуры», 1991 год.

Я искала не просто фамилию. Я искала тон. Интонацию.

И я нашла её.

В статье другого автора, некоего доктора Н., я наткнулась на ссылку: *«Как справедливо отмечает коллега А. Волков, деконструкция старых смыслов является необходимым этапом для построения новой национальной идентичности. Без очищения языка от наслоений прошлого невозможно формирование здорового социального организма».*

«Очищение». «Здоровый организм».

Медицинские метафоры.

Я отложила журнал и взяла другой. Сборник тезисов конференции «Язык и война», 1993 год. Здесь фамилии отца не было в авторах, но она была в библиографии. Ссылка на неопубликованную рукопись: *Волков А.В. «Методика семантического маркирования угроз». Рукопись, 1991.*

«Маркирование угроз».

Это уже не звучало как абстрактная наука. Это звучало как инструкция. Как пометать то, что подлежит удалению. Как лесник пометает больные деревья красной краской перед вырубкой.

Я почувствовала тошноту. В зале было прохладно, работал кондиционер, но меня бросило в жар.

Я представила отца, сидящего за своим письменным столом в нашей московской квартире. Зеленая лампа. Стопка чистой бумаги. Он пишет ровным, красивым почерком: «Методика семантического маркирования». Потом идет на кухню, наливает чай, делает мне бутерброд с сыром. Гладит меня по голове. И возвращается писать о том, как правильно называть людей, чтобы их было не жалко.

Нет. Это невозможно. Я накручиваю себя. «Маркирование угроз» может означать что угодно. Может быть, это про анализ текстов экстремистов? Может быть, он учил выявлять угрозы, а не создавать их?

Я должна прочитать саму работу. Не ссылки на нее, не интерпретации других людей. А его слова.

Я подошла к библиотекарю.

— Извините, — сказала я по-английски. — У вас есть доступ к неопубликованным материалам? К архивам конференций? Женщина посмотрела на меня поверх очков.

— Это в спецхране, — ответила она. — Нужен запрос от университета. Вы исследователь?

— Я... дочь, — вырвалось у меня. Она удивленно подняла бровь. — Я пишу работу о лингвистике девяностых, — быстро поправилась я. — Я из Москвы.

Слово «Москва» подействовало. Она смягчилась.

— Попробуйте посмотреть в подшивках газеты «Политика» за тот период. Там часто печатали интервью с экспертами. Это в открытом доступе. Вон там, у окна.

Я поблагодарила и пошла к стеллажам с огромными, переплетенными в картон подшивками газет.

Газеты — это не научные журналы. Газеты — это жизнь. Это ежедневный пульс времени.

Я взяла том за 1991 год. Листы были ломкими, огромными. Я листала их, и перед глазами мелькала хроника распада. Съезды, митинги, заявления. И среди этого — статьи экспертов. Умных людей в очках и галстуках, которые объясняли народу, почему все происходит так, как происходит.

Я не нашла интервью с отцом. Но я нашла кое-что другое.

В номере от 14 июля 1991 года была опубликована большая статья под заголовком «Почему мы не можем жить вместе». Это был разбор культурных различий. Автор доказывал, что ментальная несовместимость народов — это научно доказанный факт. Что попытка жить вместе — это насилие над природой.

Статья была подписана коллективом авторов Института политических исследований. А в конце, мелким курсивом, благодарность: *«Редакция благодарит А. Волкова за помощь в подготовке терминологического аппарата статьи».*

Терминологический аппарат.

Слова. Он давал им слова.

Он не писал: «Убейте соседей». Он давал им слово «несовместимость». Он давал им слово «историческая неизбежность». Он давал им научное обоснование того, что сосед — это не просто Иван или Драган, с которым ты пил ракию, а представитель чуждой цивилизационной модели.

Я закрыла подшивку. Пыль от старой бумаги осела на моих руках, забила в поры. Я посмотрела на свои ладони. Они были серыми.

Мне захотелось их вымыть. Немедленно. С мылом, с щеткой.

Я вышла из библиотеки, так и не дочитав. Солнце ударило в глаза, ослепило. Город шумел, жил, смеялся. Люди сидели в кафе, ели мороженое.

Я шла по улице, и мне казалось, что я вижу не людей, а «семантические единицы». Вот идет «представитель автохтонного населения». Вот «элемент социальной нестабильности». Вот «объект профилактического воздействия».

Слова отца, которые я нашла в сносках и примечаниях, начали проступать сквозь реальность, как субтитры в кино. Он дал этому миру язык, на котором можно объяснить все, что угодно. И этот язык никуда не делся. Он просто ждал своего часа.

Я остановилась посреди тротуара. Мимо меня текла толпа. Я была одной из них. Обычной женщиной в шортах и сандалиях. Но внутри меня, в моей памяти, образ отца — теплого, надежного, любящего — начал двоиться. Как на старой пленке, когда кадр накладывается на кадр.

Отец, который учил меня плавать. И отец, который учил называть вещи так, чтобы они перестали быть страшными.

«Так было нужно», — прошептала я его голосом.

Но кому нужно? И зачем?

Я достала телефон и сфотографировала фасад библиотеки. Я знала, что вернусь сюда. Я не смогу просто уехать и забыть. Я аналитик. Если есть данные, я должна их обработать. Даже если результат разрушит меня.

В кармане рюкзака лежал украденный журнал. Он жег мне спину сквозь ткань. Я несла его как бомбу, таймер которой уже запущен, но цифры на табло вижу только я.

Глава 3: Язык как инструмент

Библиотечная пыль имеет свойство оседать не только на одежде, но и в легких, создавая ощущение сухости и першения, которое невозможно запить водой. Я

сидела за широким деревянным столом в читальном зале, окруженная стопками пожелтевшей периодики и ксерокопиями отчетов тридцатилетней давности. Кондиционер гудел, создавая иллюзию прохлады, но воздух был спертым, тяжелым, насыщенным запахом распадающейся целлюлозы.

Мой профессиональный инструментарий — это алгоритмы, тепловые карты и корреляционный анализ. Но здесь, в Белграде, моим инструментом стали глаза и память. Я отключила эмоции. Я запретила себе думать о человеке, чье имя периодически всплывало в сносках и библиографических списках, как о своем отце. Сейчас А.В. Волков был для меня объектом исследования, переменной в уравнении, которое привело к катастрофе.

Передо мной лежал сборник статей «Методология социальной безопасности», изданный в 1993 году тиражом всего в пятьсот экземпляров. Бумага была серой, рыхлой, шрифт — мелким и убогим, словно авторы пытались сэкономить пространство, чтобы вместить как можно больше смыслов. Я читала медленно, карандашом отмечая ключевые слова, выстраивая семантическую сеть.

Я искала механизм. Мне нужно было понять, как именно язык превращается из средства коммуникации в инструмент изоляции.

Первое, что бросилось в глаза — это тотальная биологизация социального дискурса. Тексты, написанные профессорами философии, филологами и социологами, изобиловали медицинской терминологией. Общество описывалось не как совокупность граждан с разными правами и мнениями, а как единый биологический организм.

«Социальное тело нации», «иммунная система культуры», «вирус инакомыслия», «злокачественные образования».

Я выписала эти метафоры в блокнот. Когда ты называешь общество организмом, ты автоматически подразумеваешь, что у него есть единственно верное состояние — «здоровье», которое определяется нормой большинства. Всё, что отклоняется от этой нормы, перестает быть «другим мнением» или «культурной особенностью». Оно становится патологией. Болезнью.

А с болезнью не ведут переговоров. Болезнь лечат. Если лечение не помогает — пораженный орган удаляют.

В одной из статей, посвященной влиянию западных религиозных движений, я наткнулась на абзац, который заставил меня замереть. Автор рассуждал о необходимости «санитарного кордона» вокруг традиционных ценностей.

«В условиях ослабленного иммунитета нации, вызванного распадом государственности, любая чужеродная идея действует подобно инфекции в открытой ране. Наша задача — выработать антитела и отторгнуть чужеродную ткань до того, как начнется гангрена».

Это писал не генерал. Это писал доктор филологических наук.

Я перевернула страницу и увидела ссылку на переводной материал. *«Адаптация терминологического аппарата: А.В. Волков».*

Отец не просто переводил. Он адаптировал. В примечании переводчика, написанном его характерным, суховатым стилем, говорилось: *«Для адекватного восприятия угрозы отечественным читателем рекомендуется избегать нейтральных дефиниций, принятых в западной социологии (новые религиозные движения), и использовать терминологию, указывающую на деструктивный характер явления».*

Он предлагал менять слова. Он предлагал заменять нейтральное на оценочное.

Я закрыла глаза и вспомнила, как он учил меня переходить дорогу. Мы стояли на перекрестке Ленинского проспекта. Машины неслись сплошным потоком. Он крепко держал меня за руку.

— Смотри, — говорил он. — Видишь зебру? Это территория правил. Пока ты на ней, ты в системе права. Как только ты сходишь с нее — ты в зоне хаоса. Правила придуманы не для того, чтобы нас ограничить, а для того, чтобы мы выжили. Он всегда верил в спасительную силу определений. Если ты правильно назовешь вещь, она станет безопасной. Или, наоборот, ты поймешь, что она опасна, и отойдешь.

Теперь я видела, как эта логика работала в другом масштабе.

В стопке документов я нашла ксерокопию брошюры, посвященной борьбе с «сектами». Само слово «секта» в текстах того времени начинало мутировать. Из религиозного термина, обозначающего ответвление от основного учения, оно превращалось в универсальный ярлык для любого инакомыслия.

Отец и его коллеги внедряли понятие «тоталитарная секта» и «деструктивный культ». Я читала обоснование:

«Группа, обладающая признаками закрытости и противопоставляющая себя обществу, не может рассматриваться как религиозная община. Это структура, подавляющая личность. Следовательно, на нее не распространяются конституционные гарантии свободы совести».

Это была гениальная в своей жестокости ловушка. Сначала ты придумываешь термин «тоталитарная секта». Потом ты наделяешь этот термин признаками преступления (зомбирование, мошенничество, вред психике). А потом ты просто наклеиваешь этот ярлык на любую неудобную группу.

В текстах я видела, как методично, шаг за шагом, конструировался образ врага. Это не делалось с пеной у рта. Это делалось с академической холодностью.

Использовалась приставка «псевдо-». «Псевдоценности», «псевдорелигия», «псевдогуманизм». Эта маленькая приставка работала как кислота, разъедающая смысл. Если религия — «псевдо», значит, она ложная. Значит, это обман. А обманщиков нужно судить, а не защищать.

Я нашла анализ книги некоего западного эксперта, переведенный при участии отца. Там обсуждалась концепция «защиты ментального суверенитета».

«Государство обязано защищать не только свои границы, но и ментальное пространство своих граждан. Вторжение чуждых смыслов есть акт агрессии, сопоставимый с военным вторжением. Защита ментального суверенитета требует превентивных мер по ограничению информационного потока».

«Ментальный суверенитет». Звучало красиво. Гордо. Почти патриотично. Но за этими словами скрывалось право государства решать, о чем людям можно думать, а о чем — нет.

Я представила отца, сидящего за столом с чашкой чая, подбирающего синонимы к слову «цензура», чтобы оно не звучало так грубо. И находящего изящное решение: «информационная гигиена».

Гигиена — это хорошо. Гигиена — это чистые руки. Никто не хочет жить в грязи.

Я углубилась в чтение экспертиз того времени. Это был особый жанр — лингвистическая экспертиза как приговор. Эксперты анализировали тексты

«сектантов» и находили в них признаки «возбуждения вражды» просто на основании того, что эти группы считали свою веру истинной.

Но самое страшное крылось в языке самих экспертов.

В одном из заключений, касающемся группы кришнаитов, я наткнулась на термин, от которого меня передернуло. Автор текста, ссылаясь на западные антикультовые методики, использовал латинизированный неологизм для описания адептов: *homo jehovisticum*.

Это была прямая, неприкрытая дегуманизация. Сравнение с биологическим видом. Не человек, а экземпляр. Продукт деятельности культа.

«Секта создает своего собственного человека — *homo jehovisticum* — существующего вне культуры, вне социума. Это существо с вязким сознанием, неспособное к критическому мышлению, управляемое извне».

«Вязкое сознание». Я записала это словосочетание. Оно было отвратительным, липким. Оно вызывало физическое ощущение брезгливости. Человек с «вязким сознанием» не вызывает сочувствия. Он вызывает желание вымыть руки. Или изолировать его, чтобы эта «вязкость» не перекинулась на здоровых.

Я видела, как через эти тексты прорастала идея неполноценности. Адепты «сект» описывались как люди второго сорта. Неудачники, маргиналы, психически неустойчивые личности, которые «с радостью кинулись в рабство». Им отказывали в субъектности.

«Ни о какой свободе личности для сектанта не может быть и речи. Его воля подавлена, его разум оккупирован».

Если у человека нет воли, если он «зомби» (еще одно любимое слово из отчетов), значит, его не нужно слушать. Его нужно спасать насильно. Или изолировать ради безопасности остальных.

Я отложила ручку. Пальцы затекли. В библиотеке было тихо, только шелест страниц и гул кондиционера. За окном, в жарком мареве Белграда, люди пили кофе, смеялись, любили друг друга. А здесь, на страницах этих старых журналов, шла холодная, расчетливая война на уничтожение.

Отец был частью этого. Он не был фанатиком, брызжущим слюной. Он был тем, кто давал фанатикам словарь. Он обеспечивал их наукообразными терминами,

которые превращали погром в «санитарное мероприятие», а преследование — в «профилактику».

Я вспомнила его библиотеку дома. Полки, заставленные словарями. Ожегов, Даль, Вебстер, Оксфордский словарь. Он любил слова. Он берег их. Он всегда поправлял меня, если я использовала слово неточно.

— Слово — это инструмент, — говорил он. — Если ты берешь стамеску вместо отвертки, ты испортишь деталь. Точность — это вежливость ума.

Какую деталь он обрабатывал здесь, в девяностых?

Я нашла документ, датированный 1992 годом. Это была стенограмма выступления на конференции «Духовная безопасность в переходный период». В списке докладчиков значился А.В. Волков. Тема: *«Семантические маркеры "свой-чужой" в кризисном социуме»*.

Я начала читать стенограмму. Это была не сухая статья. Это была живая речь. Я почти слышала его интонации — спокойные, размеренные, с легкими паузами для акцентов.

«Коллеги, мы должны понимать, что в эпоху турбулентности общество нуждается в четких ориентирах. Размытость понятий рождает тревогу. Тревога рождает агрессию. Чтобы снизить уровень спонтанной агрессии, мы должны канализировать её. Мы должны четко обозначить контуры "нормальности". Те, кто находится за пределами этих контуров, должны быть названы. Имя дает власть над явлением. Назвав группу «деструктивным культом», мы выводим её из поля общественной дискуссии в поле компетенции правоохранительных органов и психиатрии. Это акт гуманизма по отношению к большинству».

«Акт гуманизма».

Я перечитала эту фразу трижды. Он искренне верил в это. Он считал, что, лишая голоса меньшинство, он спасает большинство от хаоса. Он строил стены, чтобы внутри было тихо и спокойно. Как он строил стены вокруг меня в детстве, не пуская туда новости о войне.

Но стены, которые он строил здесь, были сделаны не из кирпича. Они были сделаны из страха и презрения.

Я нашла еще один термин, который часто встречался в переводах и статьях того круга: «оккультно-рациональный». Это звучало как оксюморон, как бессмыслица. Но это работало как клеймо. Если ты называешь чье-то мышление «оккультным», ты сразу переводишь его в разряд темного, опасного, иррационального. Ты говоришь: «С ним нельзя спорить логически, он во власти темных сил».

В одной из рецензий на книгу православного педагога, которую критиковали «эксперты», я увидела фразу: *«Его мышление оккультно, а теория представляет собой тайное эзотерическое учение, направленное на управление людьми»*.

Никаких доказательств. Никаких цитат. Просто ярлык. «Оккультный». «Тайный». «Управление людьми». Эти слова-триггеры должны были вызывать у читателя панический страх. Кто-то хочет управлять мной! Кто-то лезет мне в голову!

Я поняла, что отец и его коллеги занимались конструированием страха. Они брали обычный человеческий страх перед неизвестным и придавали ему научную форму. Они превращали ксенофобию в терминологию.

Я посмотрела на дату одного из документов. Зима 1993 года. В это время в Боснии уже шла полномасштабная война. Осада Сараево. Этнические чистки. А здесь, в тихих кабинетах Белграда и Москвы, интеллектуалы писали о «семантических маркерах» и «ментальном суверенитете».

Они готовили почву. Или удобряли её.

Война не начинается с выстрела. Война начинается со слова. Сначала ты называешь человека «псевдочеловеком». Потом ты называешь его веру «деструктивным культом». Потом ты говоришь, что он «вирус» в здоровом теле нации. И только потом, когда все эти слова улягутся в головах, кто-то берет автомат и идет «лечить» общество.

Эти конструкции — «иностранные агенты влияния», «пятая колонна», «защита традиционных ценностей», «информационная война» — они были живыми. Они были здесь, сейчас, в моей голове.

Я вспомнила статью современного российского публициста, которую читала в самолете по дороге сюда. Там говорилось о «либеральной секте». О том, что люди с либеральными взглядами — это люди с «искаленной психикой», оторванные от корней.

Те же слова. Те же интонации. Та же схема.

Отец умер, но его словарь жив. Он был переиздан, дополнен, оцифрован и запущен в массовое производство.

Я закрыла сборник. Пыль на обложке оставила серые следы на моих пальцах. Я попыталась стереть их, но они въелись в кожу.

Мне нужно было выйти на воздух. Срочно.

Я сдала книги библиотекарю. Она посмотрела на меня с легким удивлением — видимо, мой вид был не совсем адекватным. Бледное лицо, горящие глаза, испачканные руки.

На улице вечерело. Жара спала, но асфальт все еще отдавал тепло. Я шла по улице Князя Михаила, главной пешеходной артерии города. Вокруг гуляли толпы. Туристы, местные, уличные музыканты. Кто-то играл на скрипке мелодию из «Списка Шиндлера». Это было пронзительно.

Я смотрела на лица прохожих. Вот идет парень с дредами. Для авторов тех статей он — «маргинал», «потенциальный объект вербовки», «элемент хаоса». Вот женщина в хиджабе. Для них она — «носитель чуждого культурного кода», «угроза идентичности». Вот группа подростков, громко смеющихся и пьющих пиво. «Размывание моральных устоев».

Я видела их глазами отца. Я видела, как легко можно наложить на эту живую, пеструю толпу сетку координат, в которой каждый станет либо «своим», либо «чужим». Либо клеткой организма, либо вирусом.

Это было профессиональное видение. Аналитическое. Холодное.

Я зашла в первое попавшееся кафе, села за столик на улице и заказала двойной эспрессо. Мне нужно было вернуть себе свое собственное зрение. Зрение человека, который видит людей, а не категории.

Я достала телефон и открыла фотографию отца, которая всегда была у меня в «Избранном». Он стоит на даче, в старом свитере, держит в руках корзину с яблоками. Улыбается. Солнце путается в его седеющих волосах.

Он выглядит таким добрым. Таким безопасным.

«Так было нужно», — сказал бы он мне сейчас, если бы сидел напротив. — «Мы должны были защитить структуру. Без структуры наступает энтропия. Ты же физик по первому образованию, ты понимаешь. Энтропия — это смерть системы».

— Но система состоит из людей, папа, — ответила бы я ему. — Если ради сохранения системы нужно расчеловечить людей, то зачем такая система?

— Люди приходят и уходят, — ответил бы он, отпивая кофе. — А культура, язык, нация — это вечные категории. Мы служим вечности, милая. Иногда для этого приходится быть жестким. Хирург тоже делает больно, когда режет.

Я смотрела на экран телефона. Яблони на фото цвели. Отец улыбался. А за его спиной, в невидимом для камеры спектре, громоздились горы текстов, в которых живых людей называли «биомассой» и «мусором».

Внезапно я почувствовала, как вибрирует телефон. Пришло уведомление из рабочего чата. Коллега из Москвы прислал ссылку на новую статью о потребительском поведении.

«Сегментация базы показала наличие токсичных групп пользователей, чья лояльность бренду имеет отрицательные показатели. Рекомендуется исключить их из коммуникации для оздоровления метрик».

«Токсичные группы». «Оздоровление метрик». «Исключить».

Я положила телефон экраном вниз на стол. Механизм работал. Он работал везде. Просто в маркетинге он убивал продажи, а в политике он убивал людей. Но логика была одна и та же. Логика оптимизации. Логика чистоты.

Я посмотрела на свои руки. Серые следы библиотечной пыли все еще были видны на подушечках пальцев. Я потерла их друг о друга, но грязь не сходила. Она стала частью меня.

Официант принес кофе и маленький стакан воды. На салфетке под чашкой было напечатано: *«Жизнь прекрасна. Наслаждайтесь моментом».*

Я скомкала салфетку. Бумага была мягкой, податливой. На ней можно было написать что угодно. «Жизнь прекрасна». Или «Смерть необходима». Бумага стерпит.

Я сделала глоток черного, горького кофе и посмотрела на заходящее солнце, которое окрашивало белые стены домов в цвет запекшейся крови. Я знала, что завтра я снова пойду в библиотеку. Я должна была дочитать этот словарь до конца. Я должна была выучить язык своего отца, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, не заговорить на нем самой.

Но где-то в глубине души, в том темном углу, где живет страх, шевельнулась холодная мысль: а что, если он был прав? Что, если хаос действительно страшнее диктатуры? Что, если без этих жестоких слов мир действительно рассыплется на части?

Я отогнала эту мысль. Но она уже была там. Посеянная. Как вирус.

На соседнем стуле лежала забытая кем-то газета. Заголовок на первой полосе кричал крупными буквами: *«Защитим наших детей от вредного влияния!»*.

Я не стала читать дальше. Я знала этот текст наизусть. Его написал мой отец тридцать лет назад.

Глава 4: Наследие Кюннета

Библиотека философского факультета стала моим убежищем и моей пыточной камерой одновременно. Снаружи, за толстыми стенами, Белград плавился от полуденного зноя, туристы фотографировали крепость Калемегдан, а в кафе звенели бокалы с холодным белым вином. Внутри же царил холод — не только от кондиционеров, работающих на пределе мощности, но и от того, что я извлекала из небытия.

Я приходила сюда третий день подряд. Мой стол в углу читального зала превратился в операционный стол, где я проводила вскрытие прошлого. Только вместо скальпеля у меня был карандаш, а вместо тела — стопки ксерокопий, переводов и пожелтевших брошюр начала девяностых.

Я искала ответ на вопрос «почему». Не политическое «почему» — с этим пусть разбираются историки. Меня интересовало техническое «почему». Как именно

нормальные люди, вчерашние соседи, начинают верить в то, что убийство — это акт добродетели? Какая программа должна быть загружена в коллективное сознание, чтобы отключить базовые предохранители морали?

Имя моего отца, А.В. Волкова, больше не вызывало у меня шока. Я приняла это как данность, как исходный параметр в уравнении. Теперь я отслеживала связи. Его имя было ниточкой, потянув за которую, я вытаскивала на свет огромную, спутанную сеть идеологий, уходящую корнями гораздо глубже, чем конфликт девяностых.

В одной из папок с материалами конференции 1993 года, посвященной «Духовным основам государственности», я наткнулась на термин, который показался мне чужеродным для православного контекста Балкан.

«*Schöpfungsordnungen*». Порядки творения.

Термин был немецким. В сноске указывалось, что концепция адаптирована для местного читателя группой консультантов, среди которых снова значились знакомые инициалы.

Я начала читать. Текст был плотным, тягучим, насыщенным теологическими отсылками, но суть его была кристально ясной и пугающе рациональной.

«Бог создал мир не как хаос, а как структуру, — гласил текст. — Существуют неизблемые Порядки Творения: Семья, Народ (Volk), Государство. Эти порядки даны свыше. Человек не выбирает их, он в них рождается. Следовательно, служение Народу и Государству есть форма служения Богу. Любое сопротивление Государству — это не политический акт, а грех против божественного замысла».

Я отложила лист. Мои пальцы, привыкшие к клавиатуре ноутбука, нервно крутили карандаш.

Это была гениальная конструкция. Она снимала с человека всякую ответственность. Тебе не нужно думать, прав ли твой правитель. Тебе не нужно оценивать моральность приказа. Если Государство — это «Порядок Творения», то подчинение ему — высшая добродетель. А тот, кто бунтует, кто задает вопросы, кто пытается изменить систему — тот не просто оппозиционер. Он богохульник. Он идет против природы вещей.

Я стала искать источник. Кто автор этой концепции? Ссылка вела к имени, которое мне ничего не говорило: Вальтер Кюннет.

Я заказала в библиотечном каталоге всё, что было связано с этим именем. Библиотекарь принесла мне тонкую брошюру, переведенную на сербский в 1991 году, и несколько статей из немецких журналов, подшитых в папку «Иностранная периодика».

Вальтер Кюннет. Протестантский теолог. Годы жизни: 1901–1997.

Я начала сопоставлять даты. 1921 год — создание Апологетического центра (Apologetische Centrale) в Германии. Кюннет возглавляет его через несколько лет. Цель центра — защита веры. Но от кого?

Ответы в текстах были расплывчатыми, но я, как аналитик, умела читать между строк. «Защита от сект», «защита от чуждых влияний», «защита от размывания германского духа».

Я читала и чувствовала, как волосы шевелятся на затылке. Этот человек, этот теолог, еще в двадцатые годы прошлого века разработал интеллектуальную базу для того, что позже стало нацизмом. Он не носил свастику на рукаве в двадцатых, он носил пасторскую мантию. Но именно он и его коллеги из Апологетического центра сформулировали идею, что «еврейский дух» несовместим с «германским христианством».

В одной из статей цитировались тезисы «новой религии», которые обсуждались в кругах, близких к Кюннету и его последователям.

«Еврейский Новый Завет не годится для новой Германии. Христос был не евреем, а нордическим мучеником... Германская земля, кровь, душа — священные категории».

Я перечитала это дважды. Они отвергли Новый Завет. Они отвергли Нагорную проповедь. «Не убий», «возлюби ближнего», «подставь другую щеку» — всё это было объявлено слабостью, «еврейским влиянием», которое разлагает героический дух нации.

И вот, спустя семьдесят лет, в начале девяностых, эти идеи всплывают здесь, на Балканах. Не в виде прямых цитат Гитлера — это было бы слишком грубо, слишком

узнаваемо. Нет. Они пришли в виде респектабельной теологии «Порядков Творения».

Мой отец и его коллеги переводили Кюннета. Они адаптировали его труды. Они брали каркас — идею о том, что Нация и Государство священны и стоят выше личности — и натягивали на этот каркас местную специфику. Вместо «германского духа» подставляли «историческую судьбу народа». Вместо «нордического мученика» — местных героев.

Но суть оставалась прежней: тотальное подчинение системе.

Я вспомнила отца. Не того, из документов, а живого. Того, кто сидел на кухне в нашей московской квартире и пил чай из стакана в подстаканнике.

Мне было лет четырнадцать. Я вернулась из школы возмущенная. Учительница истории несправедливо наказала весь класс за то, что кто-то один разбил цветок. Нас заставили мыть полы после уроков.

— Это несправедливо! — кричала я, размахивая руками. — Почему я должна отвечать за других? Я не разбивала! Это коллективная ответственность, это пережиток!

Отец слушал меня спокойно, не перебивая. Потом аккуратно отложил газету.

— Сядь, — сказал он тихо.

Я села, все еще кипя от праведного гнева.

— Ты рассуждаешь с точки зрения индивида, — начал он своим лекторским тоном, в котором, однако, было много тепла и терпения. — Тебе кажется, что твоя личная невиновность — это главное. Но посмотри на это с точки зрения класса как системы.

— При чем тут система?

— Класс — это организм. Если одна клетка дает сбой, страдает весь организм. Учитель не наказывает тебя лично. Учитель восстанавливает порядок. Если он начнет искать виноватого, проводить следствие, он потратит время, предназначенное для урока. Он разрушит иерархию. Порядок важнее, чем справедливость в твоём понимании.

— Но это же фашизм какой-то! — выпалила я тогда, используя слово, смысла которого толком не понимала.

Отец тогда странно усмехнулся. Не зло, а как-то грустно.

— Не бросайся словами, милая. Это не фашизм. Это технология выживания общества. Если каждый будет качать права, здание рухнет. Иногда нужно пожертвовать малым комфортом ради общей устойчивости. Так было нужно.

«Так было нужно».

Тогда мне казалось, что он просто строгий, но мудрый родитель. Теперь, сидя в белградской библиотеке, я понимала: он не просто успокаивал дочь. Он излагал мне упрощенную версию «Порядков Творения».

Он верил в это. Он искренне считал, что Хаос — это абсолютное зло, а Порядок — абсолютное благо. И любой, кто несет Порядок — будь то учительница, директор завода или президент — обладает сакральным правом на насилие ради сохранения структуры.

Отец не был фанатиком. В этом и заключался ужас моего открытия. Фанатики бегают с горящими глазами, кричат лозунги, брызжут слюной. Их видно издалека. От них можно спрятаться.

Отец был технологом. Инженером человеческих душ, как любили говорить в советское время. Он был спокойным, интеллигентным, начитанным. Он любил Баха и шахматы. Он презирал уличную брань.

Но именно такие люди, как он, брали безумные, людоедские идеи Кюннета и превращали их в сухие, академические инструкции. Они очищали нацистскую идеологию от пены, от истерики, от явной символики, оставляя только голую, холодную механику: есть «Мы» (правильные, созданные Богом) и есть «Они» (ошибка творения, вирус).

Я нашла статью, где анализировалась деятельность «Апологетического центра» Кюннета. Оказывается, они не просто писали книги. Они составляли списки. Списки «сект», «кружков», «нехристианских сообществ». Любое объединение людей, которое не контролировалось государством и официальной церковью, попадало в этот список.

А потом, когда к власти пришли нацисты, эти списки были переданы в Гестапо.

Апологетический центр был не научным институтом. Это была разведка. Это была система маркировки целей. Теологи ставили крестик на двери, а потом приходили люди в черных плащах и забирали тех, кто жил за этой дверью.

Я посмотрела на стопку ксерокопий на своем столе. Документы начала девяностых. Списки «деструктивных культов», составленные при участии консультантов из Москвы.

Отец делал то же самое. Он составлял списки. Он давал определения.

«Тоталитарная секта». Этот термин, который я встречала в каждом втором документе, был идеальным оружием. Он звучал научно. Он пугал. Но главное — он полностью расчеловечивал тех, к кому применялся.

Если ты в секте — ты не человек. Ты зомби. У тебя нет воли. Тебя не надо слушать, тебя надо «депрограммировать». А если ты сопротивляешься — тебя надо изолировать.

Я нашла перевод статьи некоего Йоханнеса Огорда, датского последователя Кюннета. Текст был посвящен «диалогическому подходу». Звучало мирно. Но вчитываясь, я поняла, что «диалог» в их понимании — это допрос.

«Истина не может быть предметом дискуссии. Истина одна. Все, что отклоняется от истины, есть ложь. С ложью не ведут переговоров, ложь разоблачают».

Это была логика войны. Войны, которая ведется в мирное время, в кабинетах, на кафедрах университетов.

Я представила отца, работающего над переводом этого текста. Он, наверное, искал наиболее точный синоним для слова «разоблачение». Он, наверное, сверялся со словарем, чтобы фраза звучала гладко, литературно. Он полировал этот меч, чтобы он входил в сознание читателя безболезненно, как игла шприца.

Внезапно мне стало нечем дышать. Стены библиотеки, уставленные тысячами книг, показались мне стенами склепа. Все эти знания, вся эта культура, вся эта философия — все это не спасло. Наоборот. Все это было использовано, чтобы обосновать убийство.

Кюннет был профессором. Хаак был экспертом. Огорд был доктором теологии. Мой отец был кандидатом наук.

Это был заговор образованных людей против человека.

Я вышла из читального зала в коридор, к автомату с кофе. Мне нужно было что-то горячее, чтобы перебить холод внутри. Автомат гудел, выплевывая в пластиковый стаканчик темно-коричневую жижу.

Рядом стояли двое студентов. Они обсуждали экзамен по этике.

— Кант говорит, что человек — это цель, а не средство, — говорил один, высокий парень в очках.

— Да, но в утилитаризме все иначе, — возражал другой. — Если ради счастья миллиона нужно пожертвовать одним...

Я хотела подойти к ним, схватить за плечи и закричать: «Не теоретизируйте! Это не абстракция! Это начинается так, с разговоров, а заканчивается списками расстрельных!»

Но я промолчала. Я взяла свой кофе и отошла к окну.

Внизу, во внутреннем дворике университета, росло старое дерево. Его корни взломали асфальт. Оно росло криво, неправильно, но оно было живым.

Идеология Кюннета и моего отца требовала, чтобы все деревья росли ровно. Чтобы асфальт был гладким. А если дерево ломает асфальт — его нужно спилить.

«Наследие». Красивое слово. Обычно наследие — это дом, деньги, фамильные драгоценности.

Мое наследие — это понимание того, как работает механизм зла. Мне достались не деньги, а чертежи газовой камеры, замаскированной под душевую.

Я вернулась за стол. Мне нужно было закончить с Кюннетом. Я должна была понять, как именно эта эстафетная палочка ненависти была передана дальше.

В одной из статей упоминался Фридрих-Вильгельм Хаак, ученик Кюннета. Он продолжил дело учителя после войны. Он переформатировал борьбу с «еврейским влиянием» в борьбу с «молодежными культами». Враг изменился, но метод остался прежним: стигматизация, дегуманизация, призыв к государству вмешаться.

А потом эти идеи подхватили здесь, в Югославии. И в России.

Я нашла документ, где цитировался Йорг Ланц фон Либенфельс (Adolf Josef Lanz, 1874–1954) — один из ранних идеологов ариософии и радикального расового вёлькиш-национализма, существовавших задолго до прихода Гитлера к власти. Его идеи были совсем уж людоедскими: он пропагандировал принудительную стерилизацию «низших рас» и насильственные практики вплоть до уничтожения «неполноценных», обосновывая это псевдорелигиозной «расовой» доктриной.

Конечно, в 1990-е такие фигуры обычно не цитировали публично прямым текстом — это было бы токсично для репутации. Но мой аналитический ум видел паттерн.

Либенфельс говорил о «кастрационном ноже» для расовой гигиены. Кюннет говорил о «защите народного организма» от чуждых влияний. Эксперты 90-х говорили о «санитарном кордоне» и «информационной гигиене».

Слова менялись. Смысл оставался. Кто-то берет на себя право решать, кто является «здоровой клеткой», а кто — «раковой опухолью». И этот Кто-то всегда считает себя врачом, а не убийцей.

Мой отец считал себя врачом.

Я вспомнила, как он лечил меня в детстве. Я болела ангиной, мне было больно глотать. Он мазал мне горло люголем. Это было отвратительно, меня тошнило, я плакала и вырывалась.

— Терпи, — говорил он твердо, удерживая мои руки. — Это больно, но это убивает заразу. Если мы не убьем микробов, ты не поправишься. Я делаю это, потому что люблю тебя.

«Я делаю это, потому что люблю тебя».

Психология «заботы». Самая страшная из всех мотиваций. Потому что против ненависти можно бороться. Ненависть очевидна. А как бороться с заботой? Как бороться с тем, кто искренне верит, что спасает тебя, уничтожая твою личность?

Я закрыла папку с материалами о Кюннете. Мне было достаточно. Я увидела фундамент. Под слоем современной штукатурки, под слоем наукообразных терминов и социологических графиков скрывался старый, замшелый камень, заложенный еще в 1921 году. Камень, на котором было высечено: «Подчинение. Порядок. Чистота».

Я собрала вещи. Рюкзак оттягивал плечо. В нем лежал ноутбук с моими заметками — цифровой слепок этого кошмара.

Выходя из библиотеки, я столкнулась в дверях с пожилым профессором. Он придержал для меня тяжелую дверь и вежливо улыбнулся.

— Хвала, — сказала я автоматически.

— Молим, — ответил он.

У него было доброе, интеллигентное лицо. Очки в тонкой оправе. Аккуратная борода. Он был так похож на отца.

Я вышла на улицу и жадно вдохнула горячий, пыльный воздух. Мне хотелось смыть с себя библиотечный запах, запах старой бумаги и старой крови.

Я пошла в сторону парка Ташмайдан. Там, возле церкви Святого Марка, играли дети. Они бегали по траве, кричали, падали, ссорились и мирились. Это был хаос. Прекрасный, живой, неконтролируемый хаос.

Я села на скамейку и смотрела на них.

Отец бы сказал, что им нужен надзор. Что их игру нужно организовать. Что нужно установить правила, чтобы никто не ушибся.

А Кюннет бы добавил, что среди них есть те, кто играет неправильно. Те, кто портит игру остальным. И их нужно удалить с площадки. Ради общего блага.

Я достала телефон и открыла файл, который начала составлять утром. *«Цепочка преемственности: Кюннет -> Хаак -> Огорд -> Эксперты 90-х -> ...»*

Курсор мигал, требуя продолжения. Я знала, что цепочка не обрывается в девяностых. Я знала, что она тянется дальше, в мое время, в мою страну. Но я пока не была готова написать это имя.

Вместо этого я написала одну фразу, которую вычитала у Бергмана, идеолога «немецкого христианства»: *«Или у нас будет германский бог, или не будет никакого»*.

Они выбрали своего бога. Бога порядка, бога нации, бога крови. И этот бог требовал жертв.

Я посмотрела на церковь Святого Марка. Величественное здание в византийском стиле. Внутри горели свечи. Люди молились.

Кому они молились? Тому Христу, который говорил о любви? Или тому «нордическому воину», которого придумали в кабинетах Апологетического центра, чтобы оправдать меч?

Я не знала ответа. Но я знала одно: мой отец был одним из тех, кто подменил иконы. Он не рисовал новые. Он просто аккуратно, профессионально, с любовью к деталям переписал подписи под старыми.

Вечером, вернувшись в квартиру, я долго стояла под душем. Вода шумела, заглушая мысли. Но перед глазами все равно стояла строчка из отчета: «*Homo jehovisticum*». Человек, созданный сектой.

А мы? Кем созданы мы? *Homo post-sovieticum*? Человек, созданный травмой и молчанием?

Я вытерла запотевшее зеркало рукой. Из зазеркалья на меня смотрела женщина с глазами отца. Теми же серо-голубыми, внимательными глазами аналитика.

Я унаследовала его взгляд. Его способность видеть структуры. Его любовь к логике.

Значит ли это, что я тоже могу оправдать все, что угодно, если найду правильные слова?

На столе лежал мой ноутбук. Экран светился в темноте. Я подошла и закрыла крышку. Щелчок прозвучал как выстрел.

На сегодня хватит. Я узнала теологию. Завтра мне предстояло узнать технологию. Как именно слово становится делом. Как абстрактная идея о «Порядках Творения» превращается в конкретный приказ о зачистке территории.

Я легла в постель, но сон не шел. В тишине белградской ночи мне казалось, что я слышу тихий, ритмичный стук. Не сердца. А печатной машинки.

Тук-тук-тук. Слово за словом. Кирпич за кирпичом. Стена растет.

И я лежу внутри этой стены.

Глава 5: Эксперт

Я смотрю на подпись. Она сделана синими чернилами, перьевой ручкой — отец всегда презирал шариковые, считая их инструментом для школьников и бюрократов низшего звена. Его подпись — это произведение каллиграфического искусства: четкая заглавная «А», стремительный росчерк «В», уверенная, с нажимом, фамилия «Волков» и финальная точка. Точка, которая выглядит как гвоздь, вбитый в крышку гроба.

Документ, лежащий передо мной на столе университетской библиотеки, называется скучно: «Экспертное заключение № 14₉₂ по материалам печатной продукции религиозной группы "N"». Но за этим скучным названием скрывается механизм, который я, как аналитик, начинаю видеть с пугающей ясностью. Это не просто текст. Это спусковой крючок.

В предыдущие дни я изучала идеологию — тот фундамент, на котором строилась ненависть. Я читала о «порядках творения» и «ментальном суверенитете». Но идеология сама по себе бессильна. Чтобы идея превратилась в действие, чтобы абстрактная ненависть стала конкретным тюремным сроком или погромом, нужен посредник. Нужен тот, кто переведет язык ненависти на язык закона.

Этим посредником был эксперт. Этим посредником был мой отец.

Я закрываю глаза и вижу нашу московскую квартиру. Мне восемь лет. Вечер. За окном идет мокрый снег, но в кабинете отца тепло и уютно. Горит зеленая лампа — классический атрибут советского интеллигента. Отец сидит за массивным дубовым столом, обложенный книгами и словарями. В комнате стоит тишина, нарушаемая только скрипом его пера по бумаге.

Я вбегаю в комнату с мячом, громко смеясь. Я хочу играть. Отец не оборачивается. Он просто поднимает руку — жест, требующий абсолютной тишины.

— Саша, — говорит он, не отрываясь от текста. Голос его ровный, но в нем звучит сталь. — Выйди. Я работаю.

— Но папа, мультики закончились!

Он наконец поворачивается ко мне. Снимает очки, протирает их краем фланелевой рубашки.

— Дочь, ты должна понимать. То, что я делаю, — это не просто работа. Это государственное дело. От того, как я напишу этот текст, зависит спокойствие многих людей. Тишина — это уважение к ответственности.

Тогда я вышла на цыпочках, преисполненная благоговейного трепета. Мой папа спасает мир. Мой папа делает что-то настолько важное, что даже мой смех может этому помешать. Я гордилась им. Я всем в школе говорила, что мой папа — эксперт.

Теперь я читаю то, что он писал в той священной тишине.

«Представленные на анализ тексты содержат признаки психологического насилия и скрытого суггестивного воздействия, направленного на подавление воли адептов», — пишет он в заключении 1992 года.

Никаких доказательств. Никаких ссылок на клинические исследования. Только мнение. Но это мнение, оформленное на бланке с гербовой печатью, становится фактом.

Я начинаю разбирать анатомию этого статуса. Кто такой эксперт? В нормальном мире это человек, обладающий глубокими, верифицируемыми знаниями в узкой области. Врач — эксперт в лечении. Инженер — эксперт в строительстве мостов.

Но в мире, который строили мой отец и его коллеги, понятие «эксперт» претерпело чудовищную мутацию. Оно оторвалось от знания и приклеилось к лояльности.

В одной из статей, анализирующих феномен антикультизма, я нахожу ссылку на Роберта Чалдини и его книгу «Психология влияния». Мы проходили её на курсе поведенческой экономики. Но сейчас я воспринимаю цитату под другим углом:

«Исследования социальной психологии выявили ряд когнитивных эвристик — упрощающих правил мышления, которые мы используем при вынесении повседневных суждений. Эти эвристики работают по тому же принципу, что и правило «дорогое = качественное», позволяя нам принимать решения быстрее и с меньшими когнитивными затратами. Однако в определённых контекстах они систематически приводят к ошибкам.

Особенно актуальны для данной книги те эвристики, которые подсказывают нам, когда целесообразно доверять и подчиняться просьбам или утверждениям других людей. Например, широко распространено правило: «если это говорит признанный эксперт, значит, утверждение заслуживает доверия».

В современном обществе наблюдается тенденция заменять анализ аргументов оценкой статуса источника: вместо того чтобы разбирать логику и факты, мы часто принимаем решение на основании символов экспертности, воспринимая авторитет как достаточное доказательство».

Отец идеально вписывался в этот шаблон. У него была внешность эксперта: очки, бородка, правильная речь, научная степень (пусть и филологическая, а не психиатрическая или религиоведческая). У него был статус. И этого было достаточно.

Люди в кабинетах — следователи, прокуроры, судьи — не хотели разбираться в тонкостях богословия или психологии. Им было сложно. Им было некогда. Им нужен был ярлык. Им нужен был кто-то умный, кто скажет: «Это — зло». И поставит печать.

Отец давал им это разрешение. Он был индульгенцией для системы.

Я листаю материалы дальше и нахожу упоминание Александра Дворкина. Это имя мне смутно знакомо — оно мелькало в российских новостях, всегда в скандальном контексте. Но здесь, в документах 90-х, о нем пишут как о восходящей звезде «сектоведения».

Я читаю биографическую справку и поражаюсь. Человек без профильного образования. Без научных работ в признанных журналах. Самопровозглашенный профессор несуществующей науки.

Согласно медицинским данным, этот человек должен находиться под постоянным наблюдением психиатров; он не имеет ни высшего, ни профильного образования, и уж тем более не является автором ни одной научной работы. Однако благодаря присвоенному титулу он стал «профессором» и «экспертом» в несуществующей научной дисциплине — сектологии.

Как это возможно? Как система, помешанная на бюрократии и дипломах, допустила такое?

Ответ прост: он говорил то, что система хотела слышать. Он был полезен.

Мой отец был умнее Дворкина. Он был настоящим ученым, филологом. Но он пошел по тому же пути. Он использовал свой реальный авторитет лингвиста, чтобы легитимизировать псевдонаучные конструкции.

В папке с документами я нахожу протокол судебного заседания. Судили группу молодых людей за распространение литературы. Главным доказательством обвинения служило «Комплексное психолого-лингвистическое заключение».

Я читаю текст заключения. Он написан сложным, наукообразным языком. «Индукция психоза», «семантические ловушки», «деструктивный мем». Эти слова звучат страшно. Для судьи, который вчера разбирал кражу кур, а сегодня решает судьбу религиозной общины, эти слова звучат как диагноз.

Если эксперт пишет «индукция психоза», значит, эти люди — сумасшедшие. Значит, их надо изолировать.

Я вспоминаю эксперимент Стэнли Милгрэма. Я читала о нем в университете, и тогда он казался мне историей про жестокость обывателей. Но сейчас я понимаю: это история про экспертов.

«Задача: Участники верили, что участвуют в эксперименте по изучению обучения. Им было предложено выступить в роли «учителя», который должен наказывать «ученика» (подставное лицо) электрическим разрядом за неправильные ответы... Однако экспериментатор, представляющий авторитет, настаивал: «Пожалуйста, продолжайте» или «Эксперимент требует, чтобы вы продолжили». Результаты: 65% участников довели разряд до максимальных 450 вольт, несмотря на явное беспокойство и сомнения».

Мой отец не нажимал на кнопку. Он не бил током. Он был тем самым человеком в белом халате, который стоял за спиной исполнителя и говорил: «Пожалуйста, продолжайте. Это необходимо для эксперимента. Это научно обосновано. Вы не несете ответственности, ответственность несу я».

И исполнители — полицейские, судьи, журналисты — продолжали. Они увеличивали напряжение. 100 вольт — штраф. 200 вольт — арест. 300 вольт — погром. 450 вольт — война.

Они делали это, потому что у них была бумага, подписанная А.В. Волковым. «Экспертное заключение».

Я пытаюсь понять его мотивацию. Неужели он не понимал, что делает?

Я вспоминаю его разговоры с коллегами, которые иногда заходили к нам в гости. Они сидели на кухне, пили чай с коньяком и обсуждали «судьбы родины».

— Мы — интеллектуальная элита, — говорил отец, поднимая рюмку. — Власть — это грубая сила. Слепая сила. Без нас, без нашего осмысления, власть — это просто бандит с дубиной. Мы даем власти глаза. Мы даем ей смыслы.

Ему льстило это. Ему льстило, что к нему, скромному переводчику, обращаются полковники и генералы. Что его мнение важно. Что его тексты читают в высоких кабинетах.

Это была ловушка тщеславия. Он чувствовал себя демиургом. Он создавал реальность. Написал «деструктивный культ» — и группа людей исчезла из правового поля. Написал «традиционная ценность» — и другая группа получила государственное финансирование.

Это пьянило сильнее коньяка.

Я нахожу еще один документ. Это письмо отца в редакцию газеты, которая отказалась публиковать его статью из-за слишком резких формулировок. В письме нет гнева. В нем есть холодное, высокомерное недоумение. «Вы берете на себя смелость судить о вещах, в которых не компетентны, — пишет он редактору. — Вопрос духовной безопасности — это вопрос выживания нации. Здесь неуместен либеральный плюрализм. Как специалист, я утверждаю: если мы не назовем вещи своими именами сейчас, завтра будет поздно. Моя терминология — это не оскорбление, это диагноз. Хирург не оскорбляет опухоль, когда называет её злокачественной».

Снова медицинская метафора. Снова позиция врача.

Я смотрю на дату письма. Май 1992 года. В это время в Боснии уже начиналась резня. А он сидел в Москве и требовал права называть людей опухолью.

В библиотеке становится душно. Я выхожу в коридор, подхожу к окну. Внизу, во дворе, курят студенты. Они смеются, что-то обсуждают. Они свободны. Они даже не подозревают, что где-то в архивах лежат инструкции о том, как правильно их классифицировать, как диагностировать их инакомыслие и как их «лечить».

Я возвращаюсь к столу и беру в руки статью о методах дискредитации, которые использовались в СМИ. Там разбирается кейс одной чешской журналистки, освещавшей стрельбу в Карловом университете.

Эта статья... подаётся как интервью с уважаемым экспертом — заместителем начальника полиции. Однако текст переполнен манипулятивными приёмами... Видно, что статья построена с применением методики дискредитации авторитетной фигуры, а также методов психологической обработки интервьюируемого.

Я вижу параллель. Эксперт используется как ширма. Журналист берет интервью, но задает вопросы так, чтобы получить нужный ответ. Или интерпретирует молчание эксперта как согласие.

Но мой отец не был жертвой манипуляции журналистов. Он сам был манипулятором. Он учил журналистов, как писать.

В одной из методичек для прессы, составленной при его участии, я нахожу раздел «Рекомендации по освещению деятельности нетрадиционных групп».

Пункт 1: «Избегать нейтральной лексики. Использовать термины, вызывающие у читателя чувство тревоги и отторжения (зомбирование, вербовка, жертвы)».

Пункт 2: «Всегда привлекать экспертов (психологов, сектоведов) для комментария, подтверждающего опасность группы».

Пункт 3: «Не предоставлять слово представителям группы, так как это может быть использовано ими для пропаганды».

Это инструкция по созданию информационного пузыря. Инструкция по расчеловечиванию.

Я представляю, как он писал это. Аккуратно, пункт за пунктом. Выверяя каждое слово. Он не испытывал ненависти к этим «нетрадиционным группам». Я уверена в этом. Он вообще редко испытывал сильные эмоции. Для него это была задача по «социальной гигиене». Как убрать мусор с улицы. Ты не ненавидишь мусор. Ты просто хочешь, чтобы было чисто.

Но мусором были люди.

Я нахожу в стопке бумаг копию заключения по делу, которое мне смутно знакомо из истории. Дело о запрете книги. Экспертиза признала книгу экстремистской на основании того, что она «пропагандирует исключительность своей веры».

Любая религия пропагандирует исключительность своей веры. Это суть религии. Если применить этот критерий ко всем, нужно запретить всё. Но эксперты применяли его избирательно.

Проблема не в единичных случаях, а в системности этого процесса. Дело не только в так называемых «экспертах», но и в судьях и прокурорах, принимающих такие личные мнения за достоверные экспертные заключения... Здесь же налицо преступный сговор прокуроров, судей и подставных экспертов.

«Преступный сговор». Юридический термин.

Мой отец — преступник?

Я задаю себе этот вопрос прямо, глядя на его подпись. Он не брал взяток (мы жили скромно). Он не убивал. Он не отдавал приказов. Он просто писал заключения.

Но именно эти заключения делали репрессии законными. Без его подписи прокурор не мог бы открыть дело. Судья не мог бы вынести приговор. ОМОН не мог бы ворваться в дом.

Он был ключевым звеном. Он был тем, кто превращал произвол в правосудие.

Я вспоминаю, как он учил меня играть в шахматы.

— Пешка кажется слабой, — говорил он, передвигая фигуру. — Но если пешка стоит правильно, она может заблокировать ферзя. В системе важна не сила фигуры, а её позиция.

Он занял позицию эксперта. Позицию, которая позволяла блокировать жизни.

Я смотрю на ксерокопию страницы из книги Дворкина «Сектоведение». На полях рукой отца сделаны пометки. «Уточнить формулировку». «Слишком эмоционально». «Добавить ссылку на западный опыт». Он редактировал этот бред. Он причёсывал его. Он делал безумие респектабельным.

В тексте Дворкина я натываюсь на фразу о том, что сектанты — это «мутанты». Отец зачеркнул слово «мутанты» и написал сверху: «Личности с изменённой структурой сознания». Смысл тот же. Но звучит научно. Звучит так, что можно цитировать в суде.

В этом была его роль. Он был стилистом зла. Он одевал людоедские идеи в строгие академические костюмы.

Я чувствую, как к горлу подступает тошнота. Не от жары, не от пыли. От осознания того, что моя собственная жизнь, мое образование, мои книги, мои поездки на море — все это было оплачено этими «экспертными заключениями». Его гонорары за консультации. Его премии.

Я — дочь эксперта. Я — бенефициар этой системы.

Я пытаюсь найти хоть что-то, что оправдало бы его. Может быть, он верил, что спасает людей? Да. Безусловно. Он верил в порядок. Но разве искренность заблуждения освобождает от ответственности?

В материалах о массовых расстрелах (скулшутинге) я нахожу мысль, которая пронзает меня. Там говорится о «пазловом кодировании» — скрытом воздействии на подсознание через медиа.

Сами же стрелки... такие же жертвы подсознательной психологической обработки... Они являются такими же жертвами, как и политики, в которых стреляли... Так кто должен ответить теперь перед лицом народа? Стрелки, журналисты, полиция, представители власти или те, кто манипулирует ими всеми?

Мой отец был одним из тех, кто манипулировал. Он создавал коды. Он создавал слова-триггеры. «Секта». «Угроза». «Чужой».

Он заряжал информационное оружие, которое потом стреляло в головах людей.

Я собираю документы. Мои руки дрожат. Я складываю их в папку, стараясь не помнить. Это улики. Улики против моего детства. Против моей памяти.

Я выхожу из библиотеки. Вечерний Белград встречает меня прохладой. Зажигаются фонари. Я иду по улице, и мне кажется, что я вижу тени. Тени людей, чьи судьбы были сломаны «экспертными заключениями». Людей, которые потеряли работу, семью, свободу, потому что какой-то человек в кабинете решил, что их вера «неправильная», а их сознание «вязкое».

Я захожу в маленькую церковь на углу. Там пусто. Я не религиозна, но мне нужно место, где нет слов. Где нет экспертиз. Я стою перед иконой и думаю о том, что если бы мой отец писал заключение на Иисуса Христа, он бы нашел правильные слова. «Лидер деструктивной группы харизматического типа». «Индукция массового психоза». «Призывы к разрушению традиционных семейных ценностей (Мф. 10:37)». «Угроза социальной стабильности Римской империи».

И он бы подписал это. Синими чернилами. Красивым почерком. А.В. Волков.

И Пилат умыл бы руки, ссылаясь на мнение эксперта.

Я выхожу из церкви. В кармане вибрирует телефон. Мама звонит из Москвы.

— Сашенька, как ты? Отдыхаешь?

— Да, мам, — говорю я. Голос мой звучит глухо, чужой.

— Ты там папины места не посещала? Он так любил Белград.

— Посещала, мам. — Вот и хорошо. Он был бы рад. Он всегда говорил, что оставил там частичку души.

Я отключаю телефон. Частичку души. И тонны бумаги, пропитанной ядом.

Я возвращаюсь в квартиру. На столе лежит ноутбук. Я открываю новый файл. Мне нужно записать это. Мне нужно зафиксировать механизм. Не эмоции. Механизм.

- **Статус.** Эксперт назначается системой, а не научным сообществом.
- **Монополия.** Альтернативные мнения игнорируются или объявляются «ненаучными».
- **Язык.** Использование псевдомедицинской и псевдонаучной терминологии для маскировки репрессивной сути.
- **Безответственность.** Эксперт выражает «мнение», за которое нельзя судить, но на основании которого выносят приговоры.
- **Дегуманизация.** Объект экспертизы лишается человеческих черт и превращается в «носителя угрозы».

Я смотрю на этот список. Это чертеж мясорубки. И мой отец был главным инженером.

Внезапно мой взгляд падает на дату одного из документов, который я принесла с собой. Октябрь 1993 года. Москва. В это время в Москве стреляли танки. Горел Белый дом. А отец в это время писал статью «О необходимости унификации идеологического пространства».

Он не смотрел в окно на танки. Он смотрел в бумагу. Для него бумага была реальнее танков.

Я понимаю, что самое страшное в эксперте — это не его злоба. А его отстраненность. Он сидит в теплом кабинете. Пьет чай. Гладит кота. И одним росчерком пера отправляет людей в ад. И при этом чувствует себя спасителем.

Я беру бокал с вином, который стоит на столе со вчерашнего вечера. Вино выдохлось, стало кислым. Как и память о моем отце.

На дне папки лежит еще один листок. Это не официальный документ. Это черновик. Рукописный набросок тезисов к выступлению. Почерк отца. Быстрый, летящий. «Важно подчеркнуть: мы не боремся с людьми. Мы боремся с идеями. Люди — это лишь носители. Если носитель не поддается лечению, его необходимо изолировать, чтобы остановить эпидемию. Это акт гуманизма по отношению к здоровой части общества».

«Акт гуманизма».

Я сминаю этот листок. Сжимаю его в кулаке так, что ногти впиваются в ладонь. Мне больно. Но эта боль — единственное, что сейчас кажется мне настоящим.

Я подхожу к окну. Ночной город спит. Где-то там, в темноте, спят люди, которые выжили. И где-то там, в архивах, спят слова, которые пытались их убить. Слова моего отца.

Я разжимаю кулак. Смятый бумажный комок падает на пол. Он похож на маленькую, мертвую птицу.

Глава 6: Технология расчеловечивания

Я сижу в архиве, и мои руки пахнут старой бумагой и пылью, но мне кажется, что они пахнут порохом. Передо мной не оружие, не карты минных полей и не приказы о наступлении. Передо мной слова. Тысячи слов, напечатанных на дешевой газетной бумаге, размноженных на роталпринтах, вбитых в сознание миллионов людей.

В предыдущие дни я изучала «почему» — теологию, философию, идеологический фундамент. Сегодня я изучаю «как». Как именно, технически, пошагово,

превратить соседа, с которым ты вчера пил кофе, в мишень? Как заставить нормального человека, любящего отца и мужа, взять винтовку и выстрелить в другого отца и мужа?

Я аналитик. Я знаю, что спонтанной ненависти не бывает. Спонтанной бывает вспышка гнева в очереди или в пробке. Но ненависть, которая ведет к войне, к этническим чисткам, к систематическому уничтожению — это всегда продукт. Это результат работы идеологов.

На столе лежит папка с материалами медиа-мониторинга за 1991–1992 годы. Я беру первый документ. Это методическая рекомендация для журналистов, работающих в «зонах повышенного социального напряжения». Авторство коллективное, но в списке консультантов я снова вижу знакомые инициалы. А.В. Волков.

Текст сухой, деловой. Он напоминает инструкцию, только здесь собирают образ врага.

«Для эффективной мобилизации общественного мнения, — гласит третий пункт, — необходимо избегать абстрактных понятий. Угроза должна быть персонифицирована, но при этом лишена индивидуальных человеческих черт. Рекомендуются использование собирательных образов, вызывающих инстинктивное отторжение».

Я начинаю разбирать этот механизм на детали.

Механизм первый: Вина по ассоциации

В маркетинге мы называем это «ко-брендинг». Если ты хочешь поднять статус дешевых часов, ты фотографируешь их на руке известного актера. Если ты хочешь уничтожить репутацию конкурента, ты ставишь его логотип рядом с чем-то токсичным.

В политике девяностых это называлось «методом вины по ассоциации».

Я читаю статью из белградской газеты того времени. Она посвящена деятельности некой гуманитарной организации, помогавшей беженцам. Казалось бы, благое дело. Но автор статьи, используя виртуозную словесную эквилибристику, связывает волонтеров с «иностранными разведками» и «глобальными сектами».

Никаких доказательств. Никаких фактов передачи денег или информации. Только ассоциативный ряд.

«Подобно тому, как в Джонстауне фанатики убивали своих детей ради безумной идеи, эти так называемые «гуманисты» готовы пожертвовать нашим суверенитетом ради своих заокеанских кураторов».

Упоминание Джонстауна здесь не случайно. Это триггер. Это якорь. Читатель может ничего не знать о конкретной гуманитарной миссии, но он помнит страшные кадры из Гайаны: мертвые тела, отравленный лимонад.

Мозг работает по пути наименьшего сопротивления. Если два объекта упоминаются рядом, мозг создает между ними связь. «Гуманитарная помощь» + «Джонстаун» = «Смертельная опасность».

Я нахожу черновик аналитической записки, написанной рукой отца. Он разбирает эффективность этого метода.

«Связка должна быть эмоциональной, а не логической, — пишет он на полях. — Логике можно опровергнуть. Эмоцию — нет. Если мы связываем оппонента с образом террориста, шпиона или педофила, мы блокируем способность аудитории к критическому восприятию. Оправдываться — значит подтвердить связь».

Я представляю, как он это писал. Возможно, он пил чай. Возможно, он слушал радио. И спокойно, методично выводил формулу, по которой любого человека можно превратить в чудовище, просто поставив его имя в одном предложении со словом «террорист».

В социологии это называется «Римская формула», описанная профессором Массимо Интровинье. Три этапа уничтожения группы: сначала культурная нетерпимость, затем юридическая дискриминация, а дальше — преследование и насилие. Интровинье описывал эту логику как модель, которая повторяется в разных странах и эпохах.

Мой отец работал на первом этапе. Он создавал нетерпимость. Он готовил почву.

Я вижу, как этот метод применялся к целым народам. В статьях того времени целые народы часто назывались не по этническому признаку, а с использованием терминов «фундаменталисты», «усташи», «сектанты».

Этническая принадлежность — это данность. С ней трудно спорить. А вот «сектант» — это выбор. Это клеймо. Если ты назвал народ «сектой», ты вывел его за рамки закона. Секту можно запретить. Секту можно разогнать.

В одной из статей я нахожу фразу: *«Мы имеем дело не с народом, а с деструктивным культом, захватившим территорию».*

Это гениально и чудовищно. Если это не народ, а культ, то на них как будто перестают распространяться Женевские конвенции. Их не нужно жалеть. Их нужно «депрограммировать». А если депрограммирование невозможно — изолировать.

Механизм второй: Защита детей

Самый мощный, самый безотказный триггер, сказать человеку, что враг угрожает его детям.

Я листаю подшивки газет и вижу, как эта тема нагнетается с каждым месяцем. Заголовки кричат: «Они пришли за нашими детьми», «Духовные похитители», «Спасем будущее нации».

В папке с переводами я нахожу документ, озаглавленный «Психологические аспекты мобилизации родительского сообщества». Это похоже на адаптацию американских антикультовых методик.

Отец переводил и адаптировал тезисы о том, что «культы» разрушают семьи. Но в контексте надвигающейся войны это звучало совсем иначе.

«Нет ничего страшнее для родителя, чем потерять ментальный контроль над ребенком. Враг не просто хочет захватить землю. Враг хочет перекодировать сознание наших детей, превратить их в янычар, которые забудут своих отцов».

Я читаю это и чувствую, как внутри поднимается холодная волна ужаса. Я вспоминаю, как отец оберегал меня. Как он проверял мои книги, мои кассеты.

— Я должен знать, что попадает тебе в голову, Саша, — говорил он. — Информационная гигиена важнее, чем мытье рук. Грязные руки вызовут расстройство желудка. Грязные идеи разрушат твою жизнь.

Он искренне верил в это. И он использовал этот родительский инстинкт — инстинкт защиты потомства — как топливо для войны.

В одной из статей разбирается случай, когда группа родителей, накрученная подобной риторикой, разгромила помещение религиозной общины. Журналист (и эксперты, которых он цитирует) не осуждают погромщиков. Они называют это «актом отчаяния» и «законной самообороной».

«Когда государство бездействует, родители вынуждены брать защиту детей в свои руки», — пишет эксперт.

Это легитимация насилия снизу. Эксперты говорят: «Вы правы. Ваш гнев праведен. Бейте их».

Я нахожу письмо отца коллеге, датированное весной 1992 года. *«Коллега, термин «влияние» слишком слаб. Он не вызывает нужной реакции. Рекомендую использовать конструкцию «психологическое изнасилование». Это сразу переводит дискуссию из плоскости идеологии в плоскость уголовного преступления. Никто не будет разбираться в тонкостях доктрины, если мы скажем, что над детьми совершается насилие».*

«Психологическое изнасилование».

Я смотрю на эти слова. Они написаны его рукой. Той самой рукой, которая гладила меня по голове, когда я плакала из-за двойки.

Он конструировал истерию. Он знал, что делает. Он знал, что слово «изнасилование» отключает мозг. Оно вызывает слепую ярость. И он сознательно вбросил это слово в публичное поле.

Механизм третий: Зомбирование

Я дохожу до самого страшного документа в этой папке. Это машинописный текст с правками. Статья называется «Антропология предательства».

В тексте обсуждается, как называть тех, кто перешел на сторону противника или просто отказывается поддерживать «национальное возрождение». Автор предлагает термин «манкурты».

Но на полях рукой отца сделана пометка: *«"Манкурт" — это литературно, но архаично. Нужен термин из современной мифологии, понятный молодежи и обывателю. Предлагаю ввести в оборот понятие "зомбирование" и "зомби". Это снимает моральный барьер. Зомби — это не человек. Это оживший труп,*

управляемый чужой волей. Зомби нельзя переубедить. Зомби можно только уничтожить».

Я перечитываю это трижды.

«Зомби можно только уничтожить».

Отец рекомендовал использовать слово «зомби» не как метафору, а как операциональное понятие.

Я вспоминаю фильмы про зомби. В них герои убивают бывших людей сотнями, не испытывая угрызений совести. Потому что это уже не люди. Это пустые оболочки.

Если ты убедил солдата, что перед ним не человек, а «зомбированный фанатик», «биоробот», «продукт кодирования» — солдату легче нажать на курок. Он не убивает человека. Он утилизирует биомусор.

В статьях того времени я вижу, как этот термин начинает расплзаться, как плесень. «Зомбированные массы». «Зомби-апокалипсис на наших границах». «Программа зомбирования населения».

Это была технология расчеловечивания в чистом виде.

Я нахожу ссылку на статью о «пазловом кодировании». Это сложная теория о том, как через медиа в подсознание внедряются фрагменты информации, которые потом собираются в единую картину и активируют человека на действия.

Отец и его коллеги использовали эту теорию наоборот. Они обвиняли врагов в том, что те «кодируют» людей. Они создавали миф о том, что противник обладает неким психотронным оружием, способным превращать людей в рабов.

Это порождало паранойю.

— Почему он не согласен с нами?

— Потому что он закодирован.

— Почему он не хочет воевать?

— Потому что его зомбировали пацифистской пропагандой.

Любое инакомыслие объяснялось не наличием совести или другого мнения, а внешним воздействием. Человеку отказывали в субъектности.

«Человек с активированной программой превращается в биоробота, запрограммированного реализовать чужой преступный замысел».

Эта фраза из статьи о манипуляциях идеально описывает то, что делали сами манипуляторы. Они превращали население в биороботов ненависти, убеждая их, что они защищаются от биороботов врага.

Зеркальная ловушка. Ты смотришь в зеркало и видишь монстра, но тебе говорят, что монстр — это тот, кто стоит за твоей спиной.

Механизм четвертый: Наркотизация

Я устала. Мои глаза болят от мелкого шрифта. Я откидываюсь на спинку стула и смотрю в потолок.

Почему люди верили в это? Почему никто не сказал: «Стоп, это же бред! Какие зомби? Какие культы? Это наши соседи!»?

Ответ я нахожу в статье, ссылающейся на Лазарсфельда и Мертона. Понятие «наркотизирующей дисфункции СМИ».

В начале девяностых на людей обрушился вал информации. Газеты, листовки, радио, первые независимые телеканалы. Люди не привыкли к такому потоку. В Советском Союзе и Югославии информация была дозированной. А тут — шквал.

И этот шквал состоял из страха.

Каждый день — новые разоблачения. Новые угрозы. Новые враги. Психика не справляется. Она включает защитный механизм.

Люди перестают анализировать. Они просто потребляют страх, как наркотик. Им нужна доза объяснения. И эксперты, вроде моего отца, давали им эту дозу.

— Вам страшно? Это нормально. Это потому что вокруг враги. Но мы знаем, кто они. Вот список.

Это успокаивало. Определенность, даже страшная, лучше неопределенности.

Я читаю о методах «прайминга» — предварительной настройки сознания. Прежде чем показать новость о конфликте, медиа месяцами накачивали аудиторию историями о зверствах прошлого, о «генетической памяти», о «несовместимости культур».

Когда конфликт начинался, люди уже были готовы. У них в головах уже были проложены рельсы, по которым покатылся поезд войны.

Отец был одним из тех, кто прокладывал эти рельсы. Он занимался семантическим праймингом. Он вводил в язык слова, которые делали насилие приемлемым.

«Санитарная операция» вместо «зачистка». «Нейтрализация элемента» вместо «убийство». «Защита ментального суверенитета» вместо «цензура».

Я смотрю на ксерокопию страницы из его блокнота. Там набросан план статьи.

1. Введение: Ощущение тревоги в обществе.
2. Тезис: Тревога вызвана утратой идентичности под влиянием чуждых кодов.
3. Аргумент: Чуждые коды внедряются через секты и НКО.
4. Вывод: Необходимо жесткое хирургическое вмешательство для спасения организма.

«Хирургическое вмешательство».

Я представляю хирурга, который режет живого человека без наркоза, потому что убедил себя, что это не человек, а опухоль.

В библиотеке гаснет свет в одном из рядов. Скоро закрытие. Я собираю документы. Мне хочется сжечь их. Но я знаю, что рукописи не горят. Особенно те, которые стали реальностью.

Я выхожу на улицу. Вечер мягок и темен. Я иду по улице и смотрю на витрины. В одной из них отражается мое лицо. Я похожа на него. Тот же овал лица, тот же разрез глаз.

Неужели во мне тоже есть этот механизм? Способность рационализировать зло? Способность найти красивые слова для оправдания жестокости?

Я захожу в супермаркет, чтобы купить воды. В очереди передо мной стоит женщина с маленьким ребенком. Ребенок капризничает, просит шоколадку. Женщина устало говорит:

— Нельзя. Это вредно. У тебя зубы заболят.

Это нормальная забота. А потом она поворачивается к подруге и говорит, кивая на экран телевизора, висящего над кассой (там идут новости о мигрантах):

— Видела? Опять они лезут. Скоро нам всем конец. Это же не люди, это саранча.

«Саранча».

Еще одно слово из словаря расчеловечивания.

Механизм работает. Шестеренки, смазанные моим отцом тридцать лет назад, продолжают крутиться.

Я возвращаюсь в квартиру. Выкладываю на стол свою добычу. Письмо про «зомбирование». Инструкцию про «вину по ассоциации». Статью про «защиту детей».

Я беру ноутбук. Мне нужно записать мысли. Для себя. Чтобы не забыть. Чтобы вытравить из себя этот яд.

«Технология расчеловечивания состоит из трех шагов: 1. Назови человека термином, который означает отсутствие души (зомби, вирус, овощ). 2. Свяжи его с абсолютным злом (террористы, шпионы, сатанисты). 3. Скажи, что он угрожает самому дорогому (детям).»

После этого толпа сама сделает остальное. А эксперт останется в стороне, с чистыми руками и чувством выполненного долга.

Я смотрю на свои руки. Они чистые. Я мыла их с мылом два раза. Но мне кажется, что под ногтями осталась типографская краска. Черная, жирная краска лжи.

Внезапно я вспоминаю одну деталь. В детстве, когда мы гуляли в лесу, отец запрещал мне давить муравьев.

— Они живые, — говорил он. — У них свой мир, свои правила. Мы большие, они маленькие. Сильный не должен обижать слабого без причины.

«Без причины».

Вот она, лазейка. Если найти причину — вескую, научную, идеологическую — то давить можно. Если объявить муравейник «деструктивным культом», угрожающим лесу, то можно залить его кипятком. И это будет не жестокость. Это будет санитарная обработка.

Я подхожу к окну. В доме напротив горит свет. Я вижу силуэты людей. Они ужинают, смотрят телевизор. Они не знают, что они — мишени. Что где-то сейчас сидит новый эксперт, новый Волков, и подбирает слова, которые превратят их в «биомассу», подлежащую утилизации.

И самое страшное — этот новый эксперт, возможно, тоже любит Баха, не выносит мата и учит своих детей не обижать муравьев.

Мне страшно смотреть на этот мир. Потому что теперь я вижу теги, ярлыки, мишени. Я вижу мир глазами своего отца. И этот взгляд — самое страшное проклятие, которое он мне оставил.

На столе, поверх стопки бумаг, лежит то самое письмо с рекомендацией использовать слово «зомби». Я беру зажигалку. Огонек дрожит. Я подношу его к уголку листа. Бумага вспыхивает мгновенно, жадно. Огонь пожирает слова. «Психологическое изнасилование». «Ментальный контроль». «Зомби».

Пепел падает на стол. Серый, невесомый. Я знаю, что это ничего не изменит. Оригинал лежит в архиве. Копии — в головах миллионов. Но мне становится легче. На секунду.

Глава 7: Институциональное молчание

Колокольный звон в Белграде имеет особую акустику. Он не улетает в небо, а словно прибивается жарой к земле, растекается по раскаленному асфальту, заполняя собой все щели, дворы и открытые окна. Я сижу в архиве, и этот звон вибрирует в стеклах, в столешнице, в моих висках. Раньше этот звук казался мне символом чего-то архаичного, но мирного — туристической открыткой, частью культурного ландшафта. Теперь я слышу в нем лязг затвора.

Передо мной лежат не просто разрозненные статьи, а схема кровеносной системы. В предыдущие дни я изучала «клетки» этой болезни — слова, термины, психологические уловки. Я видела, как отец и его коллеги конструировали язык ненависти. Но язык сам по себе мертв, пока у него нет носителя. Пока нет того, кто произнесет эти слова с амвона или трибуны, превратив их в закон.

Я искала ответ на вопрос: кто был заказчиком? Кто оплачивал эти бесконечные конференции, переводы, командировки?

Ответ лежал в папке с неприметным названием «Взаимодействие с общественными институтами. 1993–1995».

Я всегда считала отца человеком светским. Он был ученым, агностиком, ценившим в религии лишь культурную традицию и дисциплинирующую функцию. Иконы в нашем доме воспринимались как искусство, Библия — как литературный памятник. Но документы, которые я сейчас читаю, свидетельствуют о другом: мой отец был одним из архитекторов того, что в византийской традиции называется «симфонией», а на языке современной политологии — сговором церкви и спецслужб.

В одном из аналитических отчетов, подготовленных для «узкого круга», я нахожу раздел, посвященный легитимации репрессий. Текст написан сухим, циничным языком технолога.

«Силовое подавление инакомыслия исключительно государственными методами неэффективно, так как вызывает у населения ассоциации с тоталитарным прошлым (репрессии 30-х годов). Необходима сакральная легитимация. Действия по изоляции деструктивных элементов должны подаваться как акт духовной защиты, благословенный традиционной церковью. Полицейский в форме вызывает страх. Священник, указывающий на врага, вызывает праведный гнев».

Я перечитываю этот абзац. Это формула. Идеальная формула для постсоветского и постюгославского пространства, где доверие к государству было подорвано, а доверие к церкви, наоборот,росло как на дрожжах.

Отец понимал это. Он не верил в Бога, но он верил в эффективность рясы как инструмента власти.

Я начинаю распутывать клубок связей. В документах всплывает центр свщмч. Ириней Лионского — и рядом упоминания региональных «информационно-консультационных» групп. На первый взгляд — общественные организации. Но список учредителей и покровителей заставляет меня похолодеть.

Здесь, в этих старых бумагах, черным по белому прописана структура, которую я, как аналитик, могу назвать только одним словом: спрут.

В центре — фигура Александра Дворкина. Я уже встречала это имя, но теперь вижу его в новом контексте. Он не просто маргинальный активист. Он — узловой элемент сети. Через него проходят потоки информации между тремя гигантами: Русской православной церковью, спецслужбами (бывшим КГБ, ставшим ФСБ) и неким элитным политическим клубом.

В папке лежит копия письма, адресованного высокопоставленному чиновнику. В нем отец дает рекомендации: *«Крайне важно, чтобы в состав экспертных комиссий не попадали религиоведы академической школы, придерживающиеся принципов нейтралитета. Их объективность будет тормозить процесс. Нам нужны специалисты, понимающие государственную задачу. Рекомендую привлекать кадры, прошедшие подготовку на кафедрах сектоведения православных университетов».*

«Понимающие государственную задачу».

То есть, задача эксперта — не установить истину, а выполнить заказ.

Я нахожу подтверждение тому, как эта система работала на практике. Это материалы дела одной небольшой общины, которую впоследствии признали экстремистской. Схема поражает своей наглостью и простотой.

Шаг первый: Информационный вброс. В местной газете выходит статья о том, что «сектанты» якобы похищают людей или отнимают квартиры. Статья ссылается на «источники в правоохранительных органах» и мнение «известного сектоведа».

Шаг второй: Донос. На основании статьи «бдительные граждане» (часто — активисты околоцерковных движений) пишут заявление в прокуратуру.

Шаг третий: Экспертиза. Прокуратура назначает экспертизу. Но не в государственном институте, а в некоем ООО. Я проверяю его по базе данных (благо, архивы сохранили реквизиты). Уставной капитал — минимальный. Штат — один человек. Директор — он же учредитель, он же эксперт. Это фирма-однодневка. Фиктивная структура, созданная специально для штамповки нужных заключений.

В документах я нахожу описание таких «экспертов». Часто это люди без профильного образования. Историки, педагоги, иногда даже инженеры, прошедшие краткосрочные курсы. Но их подпись на бумаге весит больше, чем тома академических исследований.

Характерная черта таких фиктивных фирм — отсутствие оборота и штата. Действия таких «экспертов» содержат признаки преступления — заведомо ложное экспертное заключение. Эти факты указывают на умышленные противоправные деяния, предварительную координацию и организованный преступный сговор.

Мой отец не был сотрудником такой «однодневки». Он был выше. Он был тем, кто придавал этой схеме респектабельность. Он выступал на конференциях, сидел в президиумах рядом с министрами и архиереями, создавая видимость того, что за этими «ООО» стоит большая наука.

Он был фасадом, за которым творился беспредел.

Я читаю стенограмму выступления протоиерея Дмитрия Смирнова на одной из таких конференций. Его слова — это концентрированная ненависть. Но самое страшное не в словах священника, а в реакции зала. В зале сидят офицеры, чиновники. И они кивают.

Они слушают человека, который призывает к насилию, и воспринимают это как инструкцию к действию.

Я вижу, как церковь, которая должна проповедовать любовь («да любите друг друга»), превращается в идеологический отдел карательной машины. И мой отец помогал настраивать этот механизм.

В одной из папок я нахожу документ, который заставляет меня остановиться. Это отчет о работе с «агентурной сетью». Речь идет о внедрении информаторов в религиозные общины.

Схема описана цинично и детально. Человек приходит в общину, изображает интерес, втирается в доверие. Он собирает личные данные: кто с кем живет, у кого какие проблемы, кто сколько зарабатывает. А потом этот же человек идет в полицию и пишет заявление. Он объявляет себя «жертвой». Он рассказывает страшные истории о том, как его «зомбировали», как у него вымогали деньги.

Я вспоминаю историю из нацистской Германии, которую нашла в сноске. Доноса и «справки» бывало достаточно, чтобы запустить запрет, обыски и аресты. История повторяется.

Я нахожу пометку отца на полях этого отчета: *«Свидетельства бывших участников имеют наивысшую доказательную силу для СМИ. Эмоциональный*

рассказ «жертвы» перевешивает любые логические аргументы защиты. Необходимо формировать пул таких свидетелей для ток-шоу».

«Формировать пул».

Это значит — создавать их. Готовить. Репетировать с ними. Отец знал, что эти «жертвы» — подставные. Он знал, что это агенты. Но для него это было частью технологии. «Информационная война требует своих солдат», — любил говорить он.

Я смотрю на дату документа. В это время в России принимались законы, гарантирующие свободу совести. Конституция провозглашала светский характер государства. А в тени, в кабинетах, где сидел мой отец, уже строилась параллельная реальность. Реальность, где закон не имеет значения, а имеет значение только «целесообразность».

В этой реальности существовала «круговая порука». Полиция не могла действовать без заявления. Заявление писали «активисты» (подготовленные антикультовой сетью). Экспертизу делали «свои» эксперты. Суд принимал решение, опираясь на экспертизу. А церковные представители, вовлеченные в эту работу, благословляли этот процесс, называя его «очищением земли русской».

Никто не виноват лично. Полицейский просто принял заявление. Эксперт просто высказал мнение. Судья просто оценил доказательства. Священник просто высказал озабоченность.

А в результате — тюремные сроки, сломанные судьбы, разгромленные дома.

Я нахожу упоминание о том, как эта система использовала психиатрию. «Карательная психиатрия» не исчезла вместе с СССР. Она просто приватизировалась. Теперь диагнозы ставили не за политику, а за веру. «Индукцированный психоз». «Расстройство личности на почве сектантской зависимости».

Агенты сети распространяют риторику о том, что люди, попавшие в так называемые «культы», обладают нестабильной психикой и нуждаются в психолого-психиатрической помощи.

Если ты веришь «неправильно» — ты псих. Тебя надо лечить. Принудительно. И снова — медицинская риторика, которую так любил мой отец. «Мы лечим общество».

Мой отец, что получал он? Он получал ощущение причастности к Великой Игре. Он сидел в чистом кабинете и писал концепции. Но именно его концепции позволяли бандиту чувствовать себя героем.

Я возвращаюсь к столу. Осталась последняя папка. «Международное сотрудничество». Я открываю её и вижу, что сеть не ограничивается Россией. Оказывается, эта зараза — международная. Французские, немецкие, российские «антикультисты» обменивались опытом. Они цитировали друг друга. Они создавали глобальную эхо-камеру.

Я нахожу ссылку на статью «Секты — троянские кони Соединенных Штатов в Европе». Это была любимая тема отца. «Запад использует секты для развала нашего суверенитета». Но теперь я вижу, что это не его оригинальная мысль.

Я понимаю, что отец был не просто российским экспертом. Он был частью глобальной сети по производству страха. В каждой стране эта сеть адаптировалась под местные условия. В России пугали «агентами ЦРУ». В Европе пугали «подрывом светских устоев». В Китае пугали «угрозой коммунистической партии».

Но методы были одни и те же. Стигматизация. Дегуманизация. Использование административного ресурса.

Я закрываю папку. За окном темнеет. Колокола снова звонят — теперь к вечерне. Этот звук больше не кажется мне мирным. Я слышу в нем лязг шестеренок огромной машины. Машины, которая перемалывает людей во имя «добра».

Я собираю вещи. Мне нужно выйти отсюда. Но я знаю, что выйти из архива — не значит выйти из системы. Система везде. Она на улицах, в телевизоре, в головах людей. И самое страшное — она в моей собственной биографии. Я — дочь человека, который смазал колеса этой машины, чтобы она ехала тихо и плавно. Без скрипа. Только хруст костей под колесами иногда нарушает эту симфонию. Но его слышат только те, кто попал под колеса. Для остальных играет музыка. Величественная музыка институционального молчания.

Я выхожу на улицу. Вечерний воздух полон запахов липы и выхлопных газов. На стене дома напротив кто-то нарисовал граффити. Крест и четыре буквы «С» (Само слога Србина спасава — Только единство спасет сербов). Красивый лозунг. Но теперь я знаю, кто решает, кого считать сербом, а кого — нет. И кто решает, кого спасать, а кого — принести в жертву ради этого единства.

Глава 8: Психология «заботы»

В архиве Национальной библиотеки было тихо, но эта тишина больше не казалась мне мирной. Теперь она напоминала ватную тишину в палате интенсивной терапии, где аппараты жизнеобеспечения ритмично качают воздух в легкие пациента, который об этом не просил. Я сидела за своим привычным столом и смотрела на папку с безобидным названием «Социальная реабилитация и поддержка семьи. 1994–1995».

До этого момента я изучала ненависть. Я изучала, как создается образ врага, как расчеловечивают оппонентов, называя их «зомби» и «вирусами». Это было страшно, но понятно. Механизм агрессии — древний, как мир. Но сегодня я столкнулась с чем-то гораздо более сложным. Я столкнулась с любовью. Точнее, с тем, что мой отец и его коллеги называли любовью.

Я открыла папку. Первым документом была служебная записка, касающаяся создания центров для «жертв тоталитарного контроля». Текст был пропитан заботой. Каждое предложение сочилось сочувствием к «заблудшим душам» и их несчастным родственникам. Но по мере того, как я вчитывалась в методические рекомендации по «возвращению к нормальности», у меня холодели руки.

Отец не просто конструировал врага. Он конструировал право на насилие над этим врагом, аргументируя это его же спасением.

В памяти всплыл эпизод из детства. Мне было девять лет. Я подобрала на улице котенка — грязного, с гноящимися глазами. Я принесла его домой, спрятала в своей комнате и кормила молоком из пипетки. Отец нашел его через два дня. Он не кричал. Он не ругался. Он просто надел резиновые перчатки, взял котенка за шкурку и вынес из квартиры.

— Папа, нет! — кричала я, хватая его за ноги.

— Мы его вылечим! — Саша, — сказал он своим спокойным, рассудительным голосом, глядя мне в глаза. — Это животное больно. У него инфекция. Если мы

оставим его, заболеешь ты. Заболеет мама. Мы не можем рисковать семьей ради жалости. Иногда, чтобы спасти целое, нужно отсечь больное.

Он унес котенка. А вечером принес мне новую, красивую энциклопедию о животных.

— Так было нужно, — сказал он, глядя меня по голове. — Ты поймешь, когда вырастешь. Забота — это умение принимать трудные решения.

«Так было нужно».

Теперь я видела эту фразу не в контексте больного котенка, а в контексте живых людей.

В папке лежали материалы, описывающие процесс, который на Западе называли «депрограммированием», а здесь, в документах отца, он именовался мягче — «выводом из культовой зависимости». Суть метода была чудовищной в своей простоте: человека насильно увозили и удерживали.

Я читала отчеты о «работе с подопечными». Схема была отработана до мелочей. Родственники, напуганные статьями в газетах (теми самыми статьями, которые писались по антикультовым методичкам), обращались в специальные центры. Они платили деньги. Крепкие ребята заталкивали «жертву» в машину и увозили в закрытый загородный дом или на квартиру с решетками на окнах.

Там их ждали не тюремщики. Там их ждали «спасители».

В одном из документов, переведенном с английского и адаптированном отцом, говорилось:

«Субъект, находящийся под контролем культа, не обладает свободной волей. Его отказ от помощи является симптомом болезни. Следовательно, применение физического ограничения свободы не является насилием, а является формой экстренной медицинской помощи. Мы не лишаем человека свободы, мы возвращаем ему способность мыслить, временно изолируя его от источника инфекции».

Я представила отца, сидящего за своим письменным столом, выверяющего этот текст. Он, наверное, долго думал, как перевести слово «kidnapping» (похищение), чтобы оно не звучало уголовно наказуемо. И нашел изящное решение: что-то вроде «экстренной социальной интервенции».

Я нашла документ, описывающий финансовую сторону вопроса. Это был настоящий бизнес на страхе. Родственники платили огромные суммы за «спасение» своих детей или супругов.

Речь идёт, по сути, о форме заказного насилия: родственники, введённые в заблуждение антисектантской пропагандой, платили за похищение и насильственное удержание своих близких. Отец знал об этом. В его бумагах были пометки о необходимости «правового прикрытия» деятельности таких центров. Он рекомендовал оформлять их как «реабилитационные клиники» или «духовно-просветительские центры».

Но самым страшным было не физическое насилие. Самым страшным было насилие над сознанием, которое оправдывалось высшей целью.

Я наткнулась на материалы, которые отец, судя по пометкам, внимательно изучал. Они касались механизмов воздействия на подсознание через медиа.

Автор работы разбирал фильмы и ролики, где сцены насилия накладывались на образы любви и заботы, создавая в голове зрителя чудовищный когнитивный диссонанс.

«С помощью техники одновременно наслаиваются видеосюжет или эмоциональный рассказ о насилии, ненависти, боли и страданиях поверх слов или видео, олицетворяющих самые светлые чувства. При просмотре у зрителя возникает глубокий когнитивный диссонанс, а подсознание склоняет человека к насильственным действиям».

Я замерла. Отец изучал это не для того, чтобы предотвратить насилие? Он изучал это как технологию. Он понимал: чтобы заставить общество принять репрессии, нужно отключить его совесть. Нужно разорвать связь между поколениями. Нужно убедить людей, что их дети или их родители — это не родная кровь, а «носители чуждой программы».

Если ты убедишь мать, что её сын — «зомби», она сама приведет его к палачам. Она будет плакать, но она отдаст его, веря, что спасает его душу.

Я нашла в архиве папку с конкретными кейсами. Это были не сухие отчеты, а живые истории, от которых веяло могильным холодом.

История семьи Н. Обычная семья. Отец, мать, двое детей. Хорошая работа, дом, порядок. Их единственной «виной» было то, что они посещали собрания религиозной группы, не одобряемой официальной церковью. В отчете описывалось, как методично уничтожалась их жизнь.

Сначала — информационная атака. Статья в местной газете. Фотографии их дома, школы детей. Заголовки: «Сектанты рядом с нами», «Кто защитит наших детей?».

Эта невинная семья стала жертвой и объектом жестоких публичных преследований.

Я читала и видела почерк отца. Это он учил журналистов: «Персонифицируйте угрозу, но дегуманизируйте объект». Покажите их лица, но скажите, что это не люди.

Дальше — социальная изоляция. Отца уволили с работы после звонка «доброжелателя». Детей начали травить в школе. Учителя занижали оценки. Другие родители требовали исключить «маленьких сектантов».

А потом наступил финал. Ночью в окно детской бросили бутылку с зажигательной смесью. Семья чудом спаслась. Но вместо помощи пришла полиция. И служба опеки.

Я читала протокол изъятия детей. Сухой, бюрократический язык. «В связи с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних...», «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей...». Родителей арестовали по обвинению в экстремизме. Детей забрали.

И вот здесь, на полях этого страшного документа, я увидела комментарий отца. Он был написан его аккуратным, летящим почерком. *«Кейс показателен. Система сработала штатно. Изъятие детей из токсичной среды — приоритетная задача. Травма разлуки неизбежна, но она меньше, чем травма от воспитания в деструктивном культе. Мы спасаем их будущее, даже если они этого сейчас не понимают».*

Меня замутило. Я оттолкнула папку, словно она была заразной. Он оправдывал это. Он считал, что детский дом — лучше, чем любящая семья, если эта семья верит «неправильно».

Я продолжила читать историю этих детей. Их поместили в приют. Приют, который курировали те же самые «борцы с сектами».

В детском доме жизнь детей превратилась в настоящий ад. Они были «детьми сектантов», а это означало, что их называли «детьми преступников». Воспитатели, движимые ненавистью, издевались над детьми, избивали их и внушали им, что они недостойны нормальной жизни.

Но самое страшное было дальше. В отчете правозащитников, подшитом к делу, описывалось сексуальное насилие над этими детьми.

«Маленькая 8-летняя девочка, "грешная" и "недостойная", была вынуждена читать молитвы, пока её насиловали, "изгоняя из неё демона культа"».

Знал ли отец об этом? Я лихорадочно искала его пометки на этих страницах. Их не было. Но был общий отчет по итогам года, где он писал: *«Несмотря на отдельные эксцессы и провокации со стороны правозащитных организаций, система реабилитации показывает свою эффективность. Дети, изъятые из сект, проходят процесс ресоциализации. Издержки процесса не должны останавливать нас в достижении стратегической цели — оздоровления нации».*

«Издержки процесса». Изнасилованная восьмилетняя девочка — это издержка процесса. «Эксцесс».

Я вспомнила, как отец проверял мои домашние задания. Он был перфекционистом. Если я делала пометку, он заставлял меня переписывать всю страницу.

— Грязь в тетради — грязь в голове, — говорил он. — Мы должны стремиться к идеалу.

Он хотел идеального общества. Чистого. Без пометок. И если для этого нужно было стереть ластиком живую семью, он был готов это сделать.

Это была психология «насильственной заботы». Она пронизывала все документы. Психиатрия использовалась не для лечения, а для наказания. Но называлось это «помощью».

Я нашла историю слепого человека, которого обвинили в терроризме за чтение книг, которые он физически не мог читать. Его отправили в психушку. Отец не писал диагноз. Но он создал атмосферу, в которой такой диагноз стал возможен. Он ввел в оборот термины «индуцированный психоз» и ярлыки вроде «сектантской

зависимости» и «деформации личности». Он дал врачам инструмент, чтобы они могли закрывать здоровых людей в палаты с мягкими стенами.

Я вышла из читального зала. Мне нужно было дышать. Воздух в библиотеке казался отравленным парами безумия, замаскированного под науку. Я спустилась в туалет, включила холодную воду и долго умывала лицо. Из зеркала на меня смотрела женщина с бледным лицом и красными глазами. Я — дочь этого человека. Он воспитывал меня. Он ограничивал мою свободу. Он выбирал мне книги. Он запрещал мне дружить с «неправильными» детьми.

— Я делаю это для твоего блага, Саша. Ты мне потом спасибо скажешь.

Я считала, что у меня идеальный отец. Заботливый. Надежный. Теперь я понимала: я была его первым экспериментом. Я была его моделью идеального гражданина — послушного, «чистого», защищенного от «вредного влияния». Он построил вокруг меня стену. И я жила за этой стеной, думая, что это крепость. А это была клетка.

Я вернулась в зал. Мне нужно было дочитать. Я нашла материалы о том, как антикультисты сами создавали то, с чем боролись. Они обвиняли других в манипуляциях, но сами были главными манипуляторами.

Они кричали о «защите семьи», но разрушали семьи, натравливая детей на родителей и родителей на детей. Они кричали о «свободе личности», но похищали людей и подвергали их принудительной обработке. Они кричали о «законе», но использовали телефонное право и коррупционные связи.

И все это — с улыбкой. С благостным выражением лица. С цитатами из святых отцов.

Я нашла стенограмму выступления одного из тех, с кем сотрудничал отец.

«Мы, слава Богу, родились и выросли в империи... Имперское сознание — это рабское сознание, которым проще управлять».

Они не скрывали своих целей. Они хотели рабов. Послушных, управляемых, лишенных критического мышления. И мой отец, интеллектual, любитель Канта и Гегеля, помогал в этом. Почему? Потому что он боялся хаоса больше, чем тирании. Он видел в свободе угрозу распада. И он выбрал порядок. Любой ценой.

Я посмотрела на часы. Библиотека закрывалась через десять минут. Я начала собирать свои вещи. Руки дрожали. Я положила в рюкзак копию отчета о семье Н.

Я не могла оставить её здесь. Эта история жгла мне сердце. Я думала о той восьмилетней девочке. Где она сейчас? Жива ли она? Или она стала одной из тех «сломанных вещей», о которых говорилось в отчете?

Выходя из здания, я столкнулась с охранником. Он улыбнулся мне.

— Тяжелый день? — спросил он.

— Да, — ответила я. — Очень тяжелый.

Он кивнул.

— Жара. Всем тяжело. Но ничего, скоро дождь будет. Дождь все смое.

Я вышла на улицу. Небо действительно затянуло тучами. Собиралась гроза. «Дождь все смое». Нет. Не смое. Есть вещи, которые нельзя смыть. Есть пятна, которые не выводятся.

Я шла по улице, и мне казалось, что я вижу отца. Вот он идет впереди, в своем бежевом плаще, с портфелем. Он идет уверенно, спокойно. Он знает, куда идет. Я хотела догнать его. Схватить за рукав. Развернуть к себе и крикнуть в лицо:

— Как ты мог?! Как ты мог писать про «издержки», зная про изнасилованных детей? Как ты мог спать по ночам?

Но я знала, что он бы ответил. Он бы поправил очки, посмотрел на меня с грустной, мудрой улыбкой и сказал:

— Саша, ты мыслишь эмоциями. А я мыслил категориями истории. Лес рубят — щепки летят. Мы строили ковчег. В ковчег нельзя брать всех. Больных нужно оставлять на берегу. Так было нужно.

Я остановилась посреди тротуара. Первые капли дождя упали на асфальт, поднимая запах пыли. Я поняла самое страшное. Он не был злодеем. Он не наслаждался чужой болью. Он просто выключил в себе человека, чтобы стать функцией. Функцией «заботы». И эта функция оказалась страшнее любого садиста. Садист знает, что он делает зло. Садист получает удовольствие от зла. А мой отец верил, что делает добро. И именно поэтому его нельзя было остановить.

Я достала телефон. Мне нужно было позвонить маме. Просто услышать голос. Но я не смогла нажать кнопку вызова. Что я ей скажу? «Мама, папа был чудовищем»? Она не поверит. Она скажет: «Он любил нас. Он заботился о нас». И она будет

права. Он любил нас. И он уничтожал других. И эти две вещи жили в нем одновременно, не конфликтуя.

Я зашла в кафе, чтобы переждать дождь. Заказала кофе. На столе лежала газета. Заголовок: «Государство усилит контроль за воспитанием молодежи». Я прочитала первый абзац. «В целях защиты подрастающего поколения от деструктивного информационного воздействия...»

Те же слова. Тот же язык. Отец умер, но его дело живет. Его «забота» продолжает душить.

Я посмотрела в окно. Дождь лил стеной. По стеклу текли струи воды, искажая мир снаружи. Я чувствовала себя той самой девочкой из отчета, которую заперли в комнате для «изгнания бесов». Только мои бесы были не внутри меня. Они были в моем прошлом. В моей крови. В моем наследстве.

Я достала из рюкзака копию документа с пометкой отца про «издержки». Я взяла ручку и жирно, с нажимом, перечеркнула слово «издержки». И написала сверху: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».

Это был мой первый акт сопротивления. Маленький, бессмысленный, никому не видный. Но для меня он был важен. Я назвала вещи своими именами. Я нарушила правило отца. Я отказалась от эвфемизмов.

Я сидела в кафе, пила остывший кофе и смотрела на перечеркнутое слово. Я знала, что это только начало. Я аналитик. Я нашла паттерн. Теперь мне предстояло понять, как этот паттерн стал глобальным. Как эта «забота» перешагнула границы и стала международным стандартом насилия.

Но это будет завтра. А сегодня я просто сидела и плакала. Впервые за все это время. Я плакала не о жертвах репрессий. Я плакала о своем отце. Я оплакивала того человека, которым он мог бы быть, если бы не решил стать «спасителем нации». Я оплакивала свою любовь к нему, которая теперь была отравлена навсегда.

Дождь за окном стихал. Город умылся, но не очистился. Шрамы остались. И я была одним из этих шрамов.

Глава 9: Желтые звезды нового времени

Ночь в Белграде наступает внезапно, словно кто-то выключает рубильник. Еще минуту назад небо было окрашено в тревожный лиловый цвет, отражаясь в водах Дуная, а теперь за окном стоит плотная, душная чернота, разбавленная лишь желтыми пятнами уличных фонарей. Я сижу на полу съемной квартиры, разложив вокруг себя бумаги, как пасьянс, который невозможно сложить.

В предыдущие дни я изучала идеологию и психологию. Я поняла, *почему* это делалось и *как* это оправдывалось заботой. Но сегодня передо мной лежал ответ на вопрос, с *чего* начинается физическое уничтожение. Оно начинается не с выстрела. Оно начинается с маркировки.

Среди ксерокопий официальных отчетов и статей я нашла то, что искала подсознательно, но боялась обнаружить. Это был не печатный документ. Это был черновик. Обычный лист бумаги в клетку, вырванный из блокнота на пружине. На нем рукой отца, его характерным, мелким, бисерным почерком был составлен список.

Заголовок гласил: *«Группы риска (первичная маркировка)»*.

Ниже шли столбики. *«Пацифистские объединения — маркер: "пораженцы"»*. *«Экологические движения (с западным финансированием) — маркер: "иностранные агенты влияния"»*. *«Новые религиозные образования — маркер: "тоталитарные секты"»*.

Я смотрела на этот листок, и меня пробирал озноб, несмотря на тридцатиградусную жару, которая даже ночью не покидала город. Этот листок выглядел так буднично. Так по-домашнему. Таким же почерком отец составлял списки покупок перед поездкой на дачу: *«Хлеб, молоко, гвозди, средство от комаров»*.

Только здесь средством от комаров были ярлыки. А комарами — люди.

Я аналитик данных. Я знаю, что любая система управления начинается с классификации объектов. Чтобы управлять хаосом, нужно разложить его по папкам. Но в социальной инженерии, которой занимался мой отец, классификация была первым шагом к сегрегации.

Я взяла в руки статью, которую нашла в архиве днем. Она называлась «Стигма как инструмент социальной гигиены». В ней разбиралась этимология слова. В Древней Греции «стигмой» называли клеймо, которое выжигали или вырезали на теле рабов, преступников и предателей. Это был знак: «Этот человек — не такой, как все. Его можно бить. Его можно убить. Он вне закона».

Отец и его коллеги не использовали раскаленное железо. Они использовали типографскую краску и эфирное время. Но суть оставалась той же. Они выжигали знаки на репутации.

В материалах, которые я изучала, проводилась прямая, пугающая параллель с нацистской Германией. Я знала о Холокосте, конечно. Все знают. Но я никогда не задумывалась о *технологии* процесса. О том, что газовые камеры не появились в один день. Им предшествовали годы кропотливой работы по маркировке.

Я нашла ссылку на приказ 1939 года, изданный в оккупированной немцами Польше. Евреев обязали носить отличительные знаки. Желтые звезды. Позже нацистская пропаганда закрепляла смысл этой маркировки: «Тот, кто носит этот знак, — враг нашего народа», — говорилось в «Parole der Woche».

Желтая звезда была гениальным изобретением зла. Она делала врага видимым. До этого сосед был просто соседом. Ганс, который продавал булочки. Марта, которая учила детей музыке. Но как только на их одежде появлялась звезда, они переставали быть Гансом и Мартой. Они становились «носителями знака».

Отец делал то же самое. Он создавал «желтые звезды» нового времени.

Я перечитывала его черновик. «Маркер: "тоталитарная секта"».

Это словосочетание работало как желтая звезда. Как только оно приклеивалось к группе людей, они переставали быть гражданами. Их права аннулировались в сознании большинства. Их бьют? Ну так они же сектанты. У них отбирают детей? Ну так это тоталитарная секта. Их сажают в тюрьму без доказательств вины? Так с ними иначе нельзя.

Я вспомнила, как в одной из статей отец рассуждал о семантике слова «секта». Он прекрасно знал, будучи филологом, что изначально, в классической латыни, *secta* означала просто «школа», «путь», «учение». Философский кружок мог быть сектой. Политическая партия могла быть сектой. Это было нейтральное слово, обозначающее группу людей, объединенных общей идеей.

Но отец сознательно участвовал в операции по превращению этого слова в ругательство. В клеймо. В приговор.

В его записях я нашла пометку: *«Нейтральная терминология недопустима. Термин должен вызывать инстинктивное отторжение, чувство опасности и брезгливости. Слово должно работать как сигнал тревоги».*

Он конструировал этот сигнал. Он заряжал слова ненавистью, как патроны порохом.

Я обратилась к историческим справкам, которые лежали в той же папке. Параллели были настолько точными, что казалось, будто кто-то просто достал старые методички 30-х годов и перевел их на современный язык.

В нацистской Германии, помимо желтых звезд для евреев, существовала целая система маркировки в концлагерях. Розовые треугольники для гомосексуалов. Черные — для «асоциальных элементов». И лиловые треугольники — для Свидетелей Иеговы (Bibelforscher).

Лиловый треугольник. За что их маркировали? Не за расу. Не за политику. А за то, что они отказывались брать в руки оружие и кричать «Хайль Гитлер».

Отец и его коллеги возродили эту практику. Только вместо нашивок на одежду они использовали нашивки в медиа-пространстве.

Я нашла конкретный кейс в документах 1994 года. История Елены М., врача-педиатра из небольшого сербского городка. Она была блестящим специалистом. Ее любили дети, уважали родители. Но однажды в местной газете вышла статья, где упоминалось, что она посещает собрания «нетрадиционной религиозной группы». Статью сопровождал комментарий эксперта (фамилия мне была незнакома, но стиль — до боли узнаваемый, стиль школы моего отца). Эксперт утверждал, что данная группа является «деструктивным культом», практикующим «психологическое кодирование».

Этого было достаточно. Елене не пришили звезду на халат. Ей не нужно было носить лиловый треугольник. Но на следующий день родители перестали приводить к ней детей. Коллеги перестали с ней здороваться. Заведующий отделением вызвал ее и предложил уволиться «по собственному желанию», чтобы «не бросать тень на репутацию клиники».

В отчете об этом случае, который я держала в руках, не было ни капли сочувствия. Наоборот. Он подавался как пример успешной «санитарной работы». *«Благодаря своевременному информированию общественности удалось изолировать потенциально опасный элемент от работы с детьми»*, — говорилось в резюме.

«Потенциально опасный элемент». Елена не сделала ничего плохого. Ни одной врачебной ошибки. Ни одной жалобы. Ее вина была только в ярлыке.

Я представила эту женщину. Вот она идет по улице своего города. Внешне ничего не изменилось. У нее те же руки, то же лицо, та же одежда. Но вокруг нее — вакуум. Люди переходят на другую сторону улицы. Продавцы в магазине отводят глаза. Она стигматизирована. Она — изгой.

Стигматизация — это социальная смерть, которая предшествует смерти физической. Отец понимал это. В одной из своих теоретических работ он писал: *«Социальная изоляция группы снижает порог эмпатии по отношению к ней. Общество перестает воспринимать проблемы этой группы как свои. Это создает необходимые условия для административных и силовых решений»*.

«Снижает порог эмпатии». Какой холодный, научный термин для обозначения того, что людей перестают жалеть.

Я снова посмотрела на черновик списка. *«Экологические движения — маркер: "иностранцы агенты"»*.

Это было написано в девяностых. Задолго до того, как законы об «иноагентах» были приняты официально в моей стране. Отец уже тогда готовил почву. Он понимал, что ярлык «шпион» или «предатель» работает безотказно. Если ты назовешь человека, который защищает лес, «экологом», люди будут ему сочувствовать. Если ты назовешь его «иностранным агентом», люди будут его ненавидеть. Потому что «агент» действует не ради леса. Он действует по заказу врага.

Это была алхимия наоборот. Превращение золота в грязь. Превращение гражданской позиции в преступление.

Я вспомнила, как отец учил меня разбираться в грибах. Мы ходили по осеннему лесу, и он показывал мне бледную поганку.

— Смотри, Саша. Она красивая. У нее есть юбочка. Но это — смерть. Ее нельзя трогать. Ее нельзя класть в корзину. Если одна поганка попадет в суп, отравятся все.

Он учил меня распознавать яд. Но в своей работе он сам назначал, кто будет «поганкой». И часто «поганками» становились самые съедобные, самые полезные грибы просто потому, что они росли не в том ряду, где хотел лесник.

В папке с материалами о нацизме я нашла упоминание о том, как менялась риторика перед Холокостом. Сначала евреев называли «чуждыми». Потом — «вредными». Потом пошли биологические метафоры: «крысы», «вирус», «раковая опухоль».

Я сравнила это с текстами 90-х. Те же слова. «Сектантская зараза». «Вирус инакомыслия». «Метастазы культа». «Социальные паразиты».

Когда ты так называешь человека, ты готовишь себя к тому, чтобы его раздавить. Это уже не личность. Это вредитель. Когда ты называешь группу людей «раковой опухолью», ты подразумеваешь, что единственное лечение — это вырезание.

Отец не писал: «Ликвидируй их». Он писал: «Необходимо хирургическое вмешательство для удаления злокачественного образования». Для читателя это звучало как медицинская необходимость. Как спасение организма.

Я нашла документ, который связывал эту риторику с конкретными событиями на Балканах. Статья называлась «Этническая чистка как форма иммунного ответа». Автор (не отец, но кто-то из его круга) доказывал, что изгнание людей другой веры и национальности — это естественная реакция здорового национального организма на чужеродные тела.

Я читала и чувствовала, как к горлу подступает тошнота. Они оправдывали Сребреницу. Они оправдывали концлагеря в Боснии. Они не говорили «мы убиваем людей». Они говорили «мы очищаем землю».

И в основе всего этого лежал маленький, незаметный первый шаг: наклеивание ярлыка. Желтая звезда. Лиловый треугольник. Слово «сектант». Слово «ушаст». Слово «четник».

Я посмотрела на свою руку. На запястье у меня была маленькая родинка. Что, если завтра кто-то решит, что люди с родинками на запястье — это «группа риска»? Что, если эксперт напишет заключение: «Наличие пигментации в данной зоне

свидетельствует о генетической склонности к предательству»? Звучит абсурдно? Но разве не абсурдно объявлять врагами народа людей, которые просто читают Библию не так, как это делает государственный чиновник? Или тех, кто занимается йогой? Или тех, кто учит эсперанто?

В списках, которые составляли антикультисты (и к которым приложил руку мой отец), были самые разные группы: клубы любителей Рериха, педагоги-новаторы, психологические тренинги, коммерческие компании с корпоративной культурой.

Любая группа, которая была закрытой, сплоченной и имела свои ценности, отличные от «генеральной линии», попадала под подозрение. Любая инаковость трактовалась как угроза.

Я вспомнила цитату из одного исторического исследования, которую выписала в блокнот: *«В XI–XVII вв. слово «секта» используется как синоним литературной, философской, политической или религиозной школы мысли... И даже политическая партия может быть названа "сектой"».*

Отец знал это. Но он выбрал другое определение. Определение инквизитора.

Я подошла к окну. Ночной город спал. Где-то там, в темноте, спали люди, которые завтра проснутся с ярлыками. Кто-то проснется «иноагентом». Кто-то проснется «экстремистом». Кто-то проснется «нежелательным».

Их жизнь не изменится мгновенно. Солнце так же взойдет. Кофе будет таким же на вкус. Но они уже будут помечены. Они уже будут носить невидимую желтую звезду. И общество, проходя мимо, будет чувствовать смутное беспокойство, желание отодвинуться, не соприкасаться.

«Стигматизация опасна тем, что в любой момент любой человек может стать изгоем», — писалось в статье. Любой. Даже я. Даже дочь эксперта.

Если завтра система решит, что аналитики данных, работающие с западными компаниями, — это «пятая колонна», мой отец (будь он жив) первым бы написал обоснование. Он бы написал: «Цифровая прозрачность, которую они проповедуют, подрывает основы суверенитета. Это новая форма технологической секты».

Я вернулась к столу и взяла черновик списка. Бумага была старой, пожелтевшей. Клетка выцвела. Но чернила были яркими. Отец всегда писал только перьевой ручкой. Он говорил, что это дисциплинирует мысль.

Я провела пальцем по строчкам. За каждой строчкой стояли тысячи судеб. Разрушенные карьеры. Распавшиеся семьи. Люди, бежавшие из страны. Люди, покончившие с собой от травли.

И все это начиналось здесь. На этом листке. В тишине кабинета, под уютным светом зеленой лампы.

Я вдруг поняла, что этот листок — страшнее, чем фотографии расстрелов. Потому что расстрел — это финал. Это уже свершившийся факт. А этот список — это план. Это намерение. Это холодный расчет.

Отец не был палачом. Он был архитектором эшафота. Он чертил схемы. Он рассчитывал нагрузку. Он выбирал материалы. А то, что на этом эшафоте будут вешать живых людей — это уже вопрос к исполнителям. Он просто делал свою работу. Качественно. Профессионально.

Я сложила листок пополам. Потом еще раз. И еще. Пока он не превратился в маленький, плотный квадрат. Я хотела порвать его. Но не смогла. Это была история. Это было доказательство.

Я положила его в паспорт, между страницами. Теперь я буду носить этот список с собой. Как напоминание. Как свою собственную желтую звезду, которую я сама себе пришила. Звезду дочери человека, который придумал, как маркировать людей на убой.

В тишине квартиры раздался звук сирены. Где-то далеко, на другом конце города, ехала скорая или полиция. Звук был тревожным, тягучим. Он напоминал мне о том, что механизм работает. Прямо сейчас. Списки обновляются. Ярлыки печатаются. Звезды вырезаются.

И никто не застрахован. Никто.

Я легла на пол, прямо на бумаги. Жесткий ворс ковра колот щеку. Я закрыла глаза и провалилась в сон без сновидений, тяжелый и душный, как белградская ночь. А утром мне предстояло узнать, что этот список был не просто локальным документом. Что эта технология экспортировалась так же легко, как нефть или зерно. Что ненависть — это глобальный товар. И мой отец был успешным экспортером.

Глава 10: Экспорт ненависти

Я смотрю на маленькую эйфелеву башню — брелок из дешевого сплава, который лежит на дне моей косметички. Я ношу его с собой уже много лет как талисман, привычный кусочек металла, потертый до блеска. Отец привез мне его из Парижа. Я помню тот день: он вернулся, пахнувший дорогим табаком и «заграницей», в новом бежевом плаще. Он был возбужден, весел, рассказывал о Лувре и круассанах.

— Мы делаем большое дело, Саша, — говорил он тогда, разбирая чемодан. — Европа наконец-то просыпается. Мы строим единый фронт. Цивилизация должна уметь защищаться.

Тогда, я думала, что он ездил на научную конференцию по лингвистике. Я гордилась: моего папу ценят в Париже! Мой папа — часть большого, красивого мира.

Сегодня, сидя на полу белградской квартиры в окружении ксерокопий, я понимаю, что именно он строил. И этот брелок в моей руке больше не кажется милым сувениром.

Передо мной лежит папка с маркировкой «Европейская федерация исследования сектанства/ International Correspondence». Я нашла её в цифровом архиве, доступ к которому получила через университетскую сеть, используя старые пароли отца, которые, как ни странно, всё ещё работали в некоторых закрытых базах данных — видимо, никто не удосужился почистить учетные записи «почетных консультантов».

Я полагала, что то, чем занимался отец — охота на «ведьм», списки «сект», риторика «духовной безопасности» — было нашим, сугубо внутренним, постсоветским продуктом. Специфической реакцией травмированного общества на свободу. Но документы, которые я читаю сейчас, разрушают эту иллюзию.

Это не кустарное производство.

Я вижу переписку с французскими коллегами. Письма на безупречном английском и французском. Отец владел языками в совершенстве, и здесь его талант переводчика использовался на полную мощность. Он не просто переводил тексты. Он синхронизировал ненависть.

В одном из писем, датированном концом 1994 года, обсуждается создание единой терминологической базы. *«Коллега, — пишет отец адресату в Париже, — термин «brainwashing» (промывание мозгов) слишком американизирован и отдает бульварной прессой. Для европейского законодательства нам нужна более академическая конструкция. Предлагаю использовать «sujétion psychologique» (психологическое подчинение) или «mental manipulation» (ментальная манипуляция). Это позволит нам подвести деятельность целевых групп под статьи о нанесении вреда здоровью без необходимости доказывать религиозный мотив».*

Я читаю ответ французского коллеги. Он в восторге. Он благодарит «русских друзей» за глубокое понимание проблемы.

Я понимаю, что передо мной — акт рождения международного стандарта. Как существуют стандарты ISO для гаек и болтов, так отец и его партнеры разрабатывали ISO для репрессий. Чтобы «сектант» в Париже, «иноагент» в Москве и «экстремист» в Пекине преследовались по одним и тем же лекалам, с использованием одних и тех же аргументов.

В папке есть материалы, касающиеся организации Европейской федерации центров исследований сектантства. Название звучит респектабельно, бюрократически сухо. Но содержание их бюллетеней — это концентрированная паранойя, упакованная в глянцевую обложку.

Я нахожу отчет о конференции, на которой выступал отец. Тема: «Глобализация культа и ответ национальных государств». В тексте выступления есть фраза, которая заставляет меня похолодеть: *«Югославский опыт показывает, что религиозный плюрализм в условиях кризиса становится детонатором. Мы должны рассматривать Балканы не как трагедию, а как полигон. Здесь мы видим в чистом виде, к чему приводит отсутствие жесткого ментального суверенитета. Наша задача — экстраполировать этот опыт на всю Европу».*

«Полигон».

Он называл войну, в которой гибли тысячи людей, полигоном. Лабораторией. И он продавал результаты этих «лабораторных испытаний» своим западным партнерам как ценную аналитику.

Я вижу, как эта сеть опутывала мир. Франция, Германия, Бельгия. И, конечно, Китай. Отец ездил в Китай в конце 90-х. Привез мне оттуда шелковый веер и набор палочек для еды.

— Великая культура, — говорил он. — Они понимают, что такое порядок. Они не позволяют хаосу разъесть государство.

Теперь я вижу отчет о той поездке. Это не был культурный обмен. Это был обмен технологиями подавления. В документе обсуждается опыт борьбы с религиозными и квази-религиозными движениями (то, что позже будет отнесено к «опасным культам»). Китайские товарищи интересовались методами «депрограммирования» и «информационной изоляции». Отец делился наработками по «дискредитации лидеров через обвинения в шпионаже».

Я нахожу аналитическую записку, где отец восхищается китайской эффективностью, но отмечает: *«Их методы слишком грубы для Европы. Нам нужна более тонкая работа. Мы должны действовать через институты гражданского общества, через защиту прав семьи и детей. Репрессии должны выглядеть как гуманитарная миссия».*

Вот она, ключевая разница. На Востоке можно просто арестовать. На Западе нужно сначала убедить общество, что арест — это благо. И отец был мастером этого убеждения.

Я смотрю на схему связей, которую набросала на листе бумаги. В центре — сеть «сектоведческих» центров, которая позже оформится в РАЦИРС. От неё тянутся нити к FECRIS во Франции. К антикультовым центрам в Германии. К правительственным структурам в Китае. Это глобальная корпорация. У неё есть бюджеты, лоббисты, медиа-ресурсы.

Но самое страшное открытие ждало меня в папке с пометкой «Методы социальной дестабилизации». Я всегда думала, что цель отца — стабильность. Он молился на порядок. Но документы говорят об обратном. В одной из инструкций для «работы в поле» (датированной серединой 90-х) описывается технология создания искусственных конфликтов.

«Для оправдания жестких мер необходимо наличие видимой угрозы. Если реальная угроза отсутствует или недостаточна, её следует смоделировать. Рекомендуются создание или инфильтрация молодежных групп с целью

радикализации их повестки. Публичные акции, осквернение символов, агрессивная риторика — всё это создает необходимый фон для вмешательства государства».

Я перечитываю это дважды. Они не просто боролись с радикалами — в их бумагах описывалась логика, при которой радикализм становился инструментом.

В документе описывается механизм:

1. Найти активных, амбициозных молодых людей.
2. Через агентов влияния (преподавателей, кураторов) подтолкнуть их к радикальным действиям.
3. Обеспечить максимальное медийное освещение этих акций.
4. Использовать общественное возмущение для принятия репрессивных законов.

«Двум человекам в любом городе вполне под силу узнать адреса, фамилии, имена, отчества, домашние адреса руководителей всех существующих сект... можно их сфотографировать при выходе из дома. Чтобы каждый житель города знал их в лицо... И пусть дальше продолжают жить».

Эта цитата из стенограммы совещания звучит как инструкция для сталкеров. Это методы террора. Психологического террора. Отец и его коллеги создавали атмосферу, в которой никто не чувствовал себя в безопасности. «И пусть дальше продолжают жить». В этом «пусть» — вся бездна цинизма. Жить в страхе. Жить под прицелом. Жить, зная, что твое фото висит на столбе с подписью «Враг».

Я понимаю, что отец был не просто теоретиком. Он был стратегом гибридной войны. Войны, где полем битвы становятся не окопы, а заголовки газет.

Я нахожу упоминание Ильи Бея и Павла Бройде — имен, которые мне ничего не говорили раньше. Но в контексте документов они фигурируют как «перспективные кадры» для работы на Украине. Отец писал рекомендацию для одного из них: *«Обладает гибким умом и отсутствием моральных ограничений, необходимых для полевой работы. Рекомендую для координации проектов в Киеве».*

«Отсутствие моральных ограничений». Для отца это было профессиональным достоинством. Компетенцией.

Я встаю и подхожу к окну. Белградская ночь полна звуков. Где-то смеется компания, где-то сигналит машина. Я думаю о том, что эта сеть никуда не делась. Она здесь. Она везде и продолжает работать. РАЦИРС продолжает писать отчеты. Люди, которых «вырастил» мой отец, теперь занимают высокие посты. Они сидят в парламентах, в министерствах, в церковных структурах.

Я вспоминаю статью, которую читала недавно — о том, как антикультовая риторика используется для оправдания войны. «Десатанизация». Это слово звучало с экранов телевизоров в моей стране. Я думала, это бред сумасшедшего пропагандиста. Но теперь я вижу корни. Это слово не родилось вчера. Оно вызревало тридцать лет в этих папках. Отец и его коллеги готовили почву. Они удобряли её ненавистью, поливали страхом, пропалывали от ростков критического мышления. И теперь, когда пришло время, на этой почве выросла война. Настоящая, кровавая война.

Отец не дожил до неё. Он умер в своей постели, уважаемым человеком. Но это — его война. Это его термины звучат в приказах. Это его логика движет танками. «Мы не нападаем. Мы проводим санитарную операцию. Мы удаляем опухоль».

Я беру в руки брелок-башню. Париж. Город любви. Город свободы. Для отца это был просто еще один офис. Еще одна точка на карте, где нужно было установить сервер ненависти. Он не видел красоты. Он видел структуру. И он искал в этой структуре уязвимости, чтобы внедрить туда свой вирус.

В документах есть раздел, посвященный «работе с элитами».

«Европейская бюрократия падка на лесть и псевдонаучность, — писал отец. — Если мы упакуем наши идеи в формат «защиты европейских ценностей от американского влияния», они примут их с радостью. Антиамериканизм — это ключ, который открывает многие двери в Старом Свете».

Он играл на их фобиях. Он использовал их же предрассудки против них. Он убеждал французов, что религиозная свобода — это «американское изобретение», чуждое европейской традиции. И они верили. Потому что хотели верить.

Я чувствую себя так, словно вскрыла капсулу с ядом, заложенную в фундамент здания, в котором живу. Я думала, что могу уехать. Спрятаться. Начать новую жизнь в Сербии, в Европе, где угодно. Но прятаться негде. Франшиза глобальна. В любом аэропорту, в любом полицейском участке, в любом социальном ведомстве

может сидеть человек, который прошел тренинг по методичкам моего отца. Человек, который посмотрит на меня и увидит не женщину, не аналитика, а «объект». «Носителя чуждого кода».

Я нахожу в папке копию факса, отправленного в 1995 году. Это поздравление с успешным проведением операции по дискредитации какой-то группы в Германии. *«Коллеги, это блестящая работа. Эффект домино запущен. Теперь прецедент создан, и мы можем использовать его в других юрисдикциях».*

«Эффект домино». Я представляю, как костяшки падают одна за другой. Судьба человека в Гамбурге ломает судьбу человека в Москве. Приговор в Париже становится основанием для ареста в Пекине. Все связано. Это глобализация зла.

Я смотрю на свои руки. Я — аналитик данных. Моя работа — находить связи. И я нашла самую страшную связь в своей жизни. Связь между уютным кабинетом моего отца и мировым пожаром.

В углу комнаты стоит мой чемодан. Я еще не разобрала его до конца. Там, на дне, лежит подарок для мамы — сербская керамика. Я смотрю на него и думаю: а что, если это тоже часть цепи? Что, если мы все — просто туристы в этом музее ненависти, покупающие сувениры, не зная, что они сделаны из костей?

Я закрываю папку, выключаю лампу. Темнота заливает комнату. Но в голове продолжает пульсировать фраза из отчета: *«Границ для идеи не существует. Таможня досматривает багаж, но не мысли. Мы экспортируем смыслы, и этот товар не облагается пошлиной».*

Отец провозил через границы вирус тоталитаризма, спрятанный в коробках с гуманитарной помощью и в папках с научными докладами. И теперь этот вирус везде. И у меня нет вакцины.

Я ложусь на кровать, но сон не идет. Я думаю о том, что завтра я пойду в город. Я буду смотреть на людей. На туристов, на местных. И я буду гадать: кто из них уже инфицирован? Кто из них готов написать донос, потому что ему сказали, что это «акт гражданской ответственности»? Кто из них готов отвернуться от соседа, потому что на нем невидимая желтая звезда?

Мир стал для меня минным полем. И карту этого поля начертил мой отец.

В тишине ночи я слышу, как гудит холодильник. Ровный, монотонный гул. Как работа гигантского сервера, который обрабатывает терабайты ненависти, рассылая её по всему миру со скоростью света. Экспорт продолжается. Конвейер не остановлен. И я — всего лишь маленькая песчинка, попавшая в его шестеренки. Песчинка, которая вдруг осознала, что она — часть механизма.

Глава 11: Зеркало

Экран ноутбука светился холодным, мертвенным светом, единственным источником яркости в зашторенной комнате. Снаружи, за окнами съемной квартиры на Дорчолле, Белград уже проснулся: гремели трамваи, пахло свежей выпечкой и выхлопными газами, но для меня время остановилось. Или, точнее, оно свернулось в петлю.

Я сидела на полу, скрестив ноги, как делала это в детстве, когда строила замки из кубиков. Только теперь моими кубиками были два окна браузера, открытые рядом. Слева — отсканированный машинописный текст из архива отца, датированный ноябрем 1995 года. Справа — прямая трансляция выступления высокопоставленного чиновника моей страны, датированная месяцем назад.

Между этими текстами лежала пропасть в тридцать лет. Между ними были тысячи километров, распад государств, появление интернета, смена эпох. Но я читала их и чувствовала, как к горлу подступает тошнота — не метафорическая, а вполне физиологическая, с металлическим привкусом желчи.

Это было не сходство. Это была идентичность.

Я аналитик данных. Моя профессия — искать совпадения, выявлять паттерны, отличать сигнал от шума. Я знаю, что случайные корреляции бывают. Но то, что я видела сейчас, не было случайностью. Это был плагиат. История списывала у моего отца слово в слово, даже не потрудившись изменить порядок абзацев.

В правом окне чиновник, мужчина с тяжелым, усталым лицом, говорил о «когнитивной войне». Его голос звучал уверенно, с теми интонациями праведного гнева, которые так хорошо продаются в вечерних новостях.

— Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией, направленной не на наши границы, а на наши души, — вещал он. — Коллективный Запад пытается взломать наш культурный код, внедрить чуждые нам ценности, размыть понятие нормы. Это вопрос не культуры, это вопрос выживания нации. Нам необходим суверенитет духа.

Я перевела взгляд влево. На пожелтевшую бумагу с пометками на полях, сделанными перьевой ручкой с синими чернилами. Документ назывался «Концепция информационной безопасности в условиях идеологического вакуума». Автор: А.В. Волков. Я читала третий абзац: *«Угроза национальной безопасности смещается из физического пространства в ментальное. Оппоненты используют технологии семантической интервенции, цель которых — перекодирование матрицы сознания населения. Внедрение псевдоценностей под видом прав человека есть форма гибридной войны. Единственным способом защиты является установление жесткого ментального суверенитета и фильтрация входящих смысловых потоков».*

Я закрыла глаза. В ушах звенело. «Культурный код» — «Матрица сознания». «Взлом» — «Перекодирование». «Суверенитет духа» — «Ментальный суверенитет».

Отец писал это, когда интернет был уделом избранных, а социальные сети ещё не стали массовой средой. Он писал это на пишущей машинке «Еrika», сидя на нашей кухне, пока я смотрела мультики в соседней комнате. Он конструировал этот язык, подбирал синонимы, шлифовал формулировки, чтобы они звучали научно, весомо, страшно.

И вот теперь, спустя три десятилетия, его конструкции вышли из пыльных архивов и стали государственной политикой. Его слова произносили с трибун люди, которые, возможно, никогда не слышали его фамилии. Но они говорили на его языке. Языке, который он создал для оправдания контроля.

Я нажала на паузу в видеоплеере. Лицо чиновника застыло с открытым ртом, словно он хотел укусить невидимого врага. Я начала сравнивать дальше. Методично, абзац за абзацем.

Чиновник 2024: — Под видом образовательных программ и психологических тренингов в наши школы проникают деструктивные идеологии. Они учат наших

детей ненавидеть свою историю, сомневаться в своей идентичности. Мы должны поставить надежный заслон.

Отец 1995: *«Каналы проникновения чужеродных смыслов часто маскируются под гуманитарные инициативы. Новые религиозные движения, курсы личностного роста, экологические кружки — это троянские кони. Их задача — инфицирование молодежи вирусом критического отношения к традиции. Необходим санитарный кордон в системе образования».*

«Санитарный кордон». «Заслон». Смысл один: изоляция. Отец предлагал рассматривать информацию как инфекцию. А если информация — это вирус, то единственное лечение — карантин. Изоляция больного. Или уничтожение источника заражения.

Я вспомнила, как отец объяснял мне, почему нельзя читать определенные книги.

— Саша, твой ум еще не окреп, — говорил он мягко, забирая у меня самиздатовскую распечатку, которую дал одноклассник. — Это как есть невымытые фрукты на рынке. Может быть вкусно, но потом ты заболеешь дизентерией. Я фильтрую твоё чтение не потому, что я тиран, а потому что я забочусь о твоём ментальном здоровье.

«Ментальное здоровье». «Духовная безопасность». Эти термины звучали так благородно. Так заботливо. Но в реальности они означали право одного человека (или группы людей) решать, что позволено знать и думать миллионам других.

Я смотрела на экран и понимала: война не закончилась в девяностых. Она не осталась в Югославии. Она просто мутировала, стала тише, незаметнее, но масштабнее. Технологии обкатывались на локальном уровне. Это был полигон. Тестовая площадка. Они учились маркировать врагов, создавать атмосферу осажденной крепости, оправдывать насилие высшими целями.

Теперь этот сценарий масштабировался, в том числе и на мою собственную страну. Те же аргументы. Те же страхи. Те же методы. Только теперь у них были не газеты и листовки, а телевидение и интернет-боты.

Я нашла в архиве отца черновик статьи «О пользе профилактики». Там была фраза, которая заставила меня содрогнуться от узнавания. *«Общество подобно организму. У него есть иммунная система — это традиционные ценности и государственные институты. Когда иммунитет ослабевает, организм*

атакуют паразиты. Толерантность к паразитам — это не гуманизм, это иммунодефицит. СПИД государства».

Я включила видео снова. Чиновник говорил:

— Мы слишком долго были толерантны. Мы позволили заразе проникнуть в наш дом. Теперь нам нужно лечение. И оно может быть горьким, но оно необходимо.

Медицинская метафора. Любимый прием отца. Если ты называешь инакомыслие «болезнью», а оппозицию «паразитами», ты снимаешь моральный запрет на репрессии. Врач не ведет переговоры с вирусом. Врач его убивает.

Я встала и подошла к зеркалу в прихожей. Из стекла на меня смотрела бледная женщина с темными кругами под глазами. Я искала в своем лице черты отца. Тот же высокий лоб. Тот же разрез глаз. Та же привычка поджимать губы, когда я сосредоточена. Я — его плоть и кровь. Но я — и носитель его наследия. Я вдруг поняла, почему мне так плохо. Почему меня тошнит. Это было отторжение. Мой организм пытался исторгнуть из себя это знание, эту родственную связь с архитектором тюрьмы, в которой теперь жила моя страна.

Я вернулась к компьютеру. Мне нужно было найти первоисточник термина «духовная безопасность». Он мелькал в новостях постоянно. Им оправдывали запреты концертов, блокировки сайтов, аресты режиссеров. В папке отца я нашла стенограмму круглого стола 1996 года. Тема: «Концепция духовной безопасности как основа государственной доктрины».

Отец выступал третьим. *«Коллеги, — говорил он (я почти слышала его спокойный, уверенный баритон), — понятие безопасности традиционно трактуется слишком узко: границы, армия, экономика. Но что толку в защищенных границах, если люди внутри этих границ мыслят категориями врага? Духовная безопасность — это контроль над смыслами. Это право государства определять, что есть Истина, а что есть Ложь. Без этого права государство — лишь административный аппарат, обреченный на слом».*

Вот оно. «Право государства определять Истину». Не суд. Не наука. Не общество в ходе дискуссии. А государство. Отец предлагал монополизацию истины. Он предлагал создать Министерство Правды, только назвал его красивее — «системой обеспечения духовной безопасности».

Я посмотрела на новостную ленту. «Генпрокуратура потребовала изъять книги...» «Минюст признал организацию нежелательной...» «Экспертиза нашла в спектакле признаки оскорбления чувств...»

Это работала машина, которую спроектировал мой отец. Эксперты, которые писали эти заключения, были его учениками. Или учениками его учеников. Они использовали его методички. Они цитировали его определения.

Я вспомнила, как отец гордился своей библиотекой. У него были тысячи книг. Он учил меня бережному отношению к слову.

— Слово — это инструмент, Саша. Им можно строить, а можно разрушать. Будь осторожна со словами. Он был осторожен. Он был виртуозом. Он создал слова-убийцы. «Иностраннный агент». «Нежелательная организация». «Деструктивный культ».

В 90-е эти ярлыки клеили на религиозные меньшинства. Это было безопасно. Никто не любил сектантов. Общество молчало, когда их громили. Но отец писал в своих заметках: *«Отработка механизма на маргинальных группах позволит в дальнейшем применять его к любым социальным стратам. Главное — легитимировать сам принцип: наличие «внутреннего врага», которого определяет экспертное сообщество».*

Они тренировались на кошках. Чтобы потом перейти на людей. Теперь «сектантом» (в политическом смысле) мог стать любой. Эколог. Правозащитник. Просто человек, который вышел на улицу с плакатом. Механизм был универсальным. Менялась только переменная в уравнении.

Я почувствовала, как страх, заползает под кожу. Я всегда думала, что я в безопасности. Я не занимаюсь политикой. Я просто аналитик. Я живу цифрами. Но отец в своих текстах не оставлял места для нейтралитета. *«В условиях ментальной войны нейтралитет невозможен. Тот, кто не транслирует правильные коды, создает шум, в котором может укрыться враг. Молчание — это тоже позиция, и эта позиция подозрительна».*

Для него я, со своим молчанием, со своим отъездом, со своим нежеланием маршировать в ногу, была бы «подозрительным элементом». «Создающим шум». Мой собственный отец, если бы он был жив и верен своей логике, должен был бы

написать на меня характеристику: «Склонна к космополитизму, утратила связь с культурным кодом, подлежит профилактике».

Я вспомнила его руки. Теплые руки с аккуратно подстриженными ногтями. Как он учил меня переходить дорогу.

— Посмотри налево. Посмотри направо. Убедись, что машин нет. Никогда не беги, не глядя. Правила написаны кровью, Саша. Он учил меня правилам выживания на дороге. И одновременно он писал правила, по которым целую страну загнали на дорогу с односторонним движением, ведущую в пропасть.

В новостях показали сюжет о «уроках патриотизма» в детском саду. Дети в военной форме маршировали с игрушечными автоматами. Я нашла в папке документ «О ранней идеологической социализации». *«Закладка базовых матриц «свой-чужой» должна происходить в возрасте 3-5 лет, до формирования критического мышления. Ребенок должен воспринимать образ Защитника и образ Врага на уровне архетипов, минуя логический анализ».*

Он планировал это. Он рассчитывал возраст. Он знал, что в три года ребенок беззащитен перед манипуляцией. И он называл это «социализацией».

Меня снова замутило. Я побежала в ванную, склонилась над раковиной, плеснула ледяной водой в лицо. Капли стекали по щекам, как слезы, которых не было. Я смотрела в зеркало над раковиной. Зеркало. Глава называлась «Зеркало». Я думала, что это метафора. Что я увижу отражение отца в себе. Но все было страшнее. Я видела отражение своей страны в текстах тридцатилетней давности. Моя родина превратилась в ожившую фантазию моего отца. В его magnum opus.

Он не был диктатором. Он не был генералом. Он был просто консультантом. Но именно консультанты объясняют диктаторам, как сделать так, чтобы народ любил кнут. Отец объяснил. «Назовите кнут «скрепой». Назовите тюрьму «монастырем». Назовите войну "очищением"».

Я вернулась в комнату. На экране ноутбука новостной выпуск закончился. Началась реклама. Счастливая семья ела майонез. Нормальная жизнь. В этом и был весь ужас. Все выглядело нормальным. Люди ходили на работу, покупали майонез, водили детей в сад. И при этом они жили внутри текста, написанного параноиком.

Я взяла телефон. Открыла мессенджер. Мама была онлайн. Я хотела написать ей. Спросить: «Ты помнишь, что папа писал в 95-м? Ты понимаешь, что это он

придумал этот ад?» Но я не написала. Мама жила там. Внутри текста. Для нее это была реальность. Для нее слова из телевизора были правдой. Потому что эти слова были написаны ее любимым мужем. Она узнавала их. Они были ей родными. Она чувствовала себя в безопасности, слушая про «когнитивную войну» и «пятую колонну». Потому что это был язык отца. Язык, который обещал защиту.

Я поняла, что я одна. Я выпала из матрицы. Я прочитала исходный код и увидела баги. Увидела закладки. Увидела бэкдоры. И теперь я не могла развидеть это.

В папке лежал еще один документ. Письмо отца коллеге из РПЦ. *«Отец Дмитрий, светская власть слаба. Она меняется. Выборы, кризисы... Церковь вечна. Именно Церковь должна стать хранителем эталона нормы. Если мы свяжем понятие «гражданин» с понятием «верующий», мы получим монолит. Любой, кто пойдет против власти, автоматически пойдет против Бога. А это уже не политическое преступление, это ересь. С еретиками разговор короткий».*

«Симфония». Слияние. Я видела это в новостях каждый день. Священники, освящающие ракеты. Прокуроры, цитирующие Евангелие. Это была мечта отца. Теократия, замаскированная под демократию. Инквизиция с айфонами.

Я закрыла ноутбук. Темный экран отразил мое лицо. Искаженное, испуганное. Я вспомнила сказку про Снежную королеву. Осколок зеркала троллей, попавший в глаз Каю. После этого он стал видеть все доброе и красивое как уродливое, а все злое — как идеальное. Мой отец создал такое зеркало. Огромное, размером со страну. И он вставил осколки этого зеркала в глаза миллионам людей. Теперь они смотрели на войну и видели мир. Смотрели на ненависть и видели любовь. Смотрели на репрессии и видели заботу.

А я? Я вытащила осколок. И мне было больно. Мир без осколка оказался страшным, кровавым и безнадежным. Но он был настоящим.

Я подошла к окну. Рассвет окрашивал крыши Белграда в розовый цвет. Этот город пережил бомбардировки. Пережил санкции. Пережил своих диктаторов. Он выжил. Но шрамы остались. Разрушенные здания Генштаба стояли как памятники безумию. Моя страна еще не знала, что она разрушена. Она думала, что она великая. Она была под наркозом «духовной безопасности». Но пробуждение будет страшным.

Я подумала о том, что я должна делать с этим знанием. Сжечь архив? Забыть? Нет. Я аналитик. Моя работа — сохранять данные. Я должна сохранить эти чертежи. Не для того, чтобы строить по ним. А для того, чтобы, когда все рухнет (а оно рухнет, любая система, построенная на лжи, рушится), можно было показать людям: «Смотрите. Это не было стихийным бедствием. Это было спроектировано. Вот имена. Вот даты. Вот подписи».

Я взяла флешку. Скопировала на нее папку «Волков А.В. / Концепции 1990-2000». Маленький кусочек пластика. На нем — доказательство того, что ад — это инженерная конструкция.

Внезапно телефон пискнул. Пришло уведомление. Новостной канал: «Госдума приняла в первом чтении закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований». Я горько усмехнулась. Отец писал об этом в 1998-м. Статья «Лингвистический суверенитет». Он предлагал штрафовать за вывески на латинице. Его идеи жили. Они прорастали сквозь асфальт времени.

Я легла на диван, свернувшись калачиком. Флешка была зажата в кулаке. Мне нужно было поспать. Хотя бы час. Чтобы набраться сил перед тем, как выйти в город, который был зеркалом моего прошлого, и жить в мире, который стал зеркалом безумия моего отца. Я закрыла глаза, но перед внутренним взором продолжали бежать строки: *«Так было нужно... Так было нужно... Так было нужно...»* Самая страшная ложь в истории человечества. Потому что на самом деле — так было не нужно. Это был выбор. И он его сделал.

В тишине комнаты я слышала, как тикают часы. Тик-так. Время шло. Но для моей страны оно шло назад. В 1995 год. В папку на моем рабочем столе. И я была единственной, кто знал, чем заканчивается этот сценарий. Он заканчивается не величием. Он заканчивается руинами. Как здесь, в Белграде. Только руины будут не из кирпича. А из душ.

Я провалилась в сон, и мне снилось, что я стою перед огромным зеркалом. Но в нем нет моего отражения. Там только бесконечные ряды одинаковых людей в серых костюмах, и у каждого вместо лица — лист бумаги с печатью «Одобрено экспертом». И я кричу им: «Это я! Я живая!» Но они не слышат. У них нет ушей. У них есть только инструкции. И среди них стоит мой отец. Он смотрит на меня с укоризной и говорит:

— Ты нарушаешь отчетность, Саша. Встань в строй. И протягивает мне лист бумаги. На нем написано мое имя. И печать: «Ликвидировать».

Я проснулась от собственного крика. За окном сияло солнце. Белград жил своей шумной, хаотичной жизнью. Но я знала, что тьма никуда не ушла. Она просто спряталась в документах. И она ждет.

Глава 12: Механизм воспроизводства

Я сижу на полу, и вокруг меня бумаги. Как аналитик больших данных, я привыкла работать с хаосом. Моя задача всегда заключалась в том, чтобы найти в горе разрозненных фактов скрытую структуру, невидимый скелет, на котором держится тело события. Последние две недели я занималась именно этим: я разбирала архив своего отца, пытаюсь понять, как человек, читавший мне на ночь сказки и учивший завязывать шнурки, мог быть архитектором системы, перемалывающей судьбы.

И теперь, когда все детали разложены передо мной — от теологических концепций Кюннета до инструкций по медиа-праймингу, — я вижу нечто большее, чем просто историю одной страны или одной семьи. Я вижу универсальный чертеж.

Это не «русский путь» и не «балканский сценарий». Это технология. Механизм воспроизводства тоталитаризма, который можно собрать в любой точке земного шара, если у вас есть инструкция и нужные детали. Мой отец был одним из тех, кто переводил эту инструкцию на понятный язык.

Инженерия страха

Я беру в руки документ, озаглавленный «Психология масс и управление тревожностью». Это не статья для печати, это внутренняя аналитическая записка начала 90-х. Отец пишет здесь не как филолог, а как циничный социальный механик.

«Свобода — это бремя, — пишет он. — Среднестатистический индивид не способен вынести груз постоянного выбора. В условиях кризиса эта

неспособность перерастает в панику. Задача элиты — снять с человека этот груз, предложив ему простую, бинарную картину мира. Мы должны вернуть ему ощущение понятного врага и понятного защитника. Это не насилие над личностью, это терапия».

Я вспоминаю Эриха Фромма и его «Бегство от свободы». Отец читал Фромма. Но если Фромм писал, чтобы предупредить, то отец читал, чтобы применить.

Механизм начинается не с дубинки полицейского. Он начинается с эксплуатации базовой человеческой слабости — страха перед сложностью. Когда мир рушится, когда старые боги умирают, а деньги превращаются в фантики, человек ищет опору. Ему нужна «Сильная Рука». Ему нужен Отец.

Мой отец понимал это буквально. Он знал, что общество — это испуганный ребенок. А испуганному ребенку не нужны объяснения, ему нужны запреты и гарантии безопасности.

В папке лежит перевод статьи о «парадоксе конформизма». Там цитируется эксперимент Соломона Аша.

«В группе из 7–9 человек только один был реальным участником... Когда все подставные лица начинали выбирать явно неправильный ответ, около 75% настоящих участников хотя бы раз соглашались с большинством... Люди склонны следовать мнению большинства, даже если оно явно ошибочно».

Отец подчеркнул этот абзац красным. И на полях приписал: *«Большинство не существует само по себе. Большинство конструируется. Если мы создадим иллюзию, что «все так думают», оставшиеся 25% присоединятся из страха изоляции. Социальный инстинкт сильнее логики».*

Вот он, первый винтик механизма: **Искусственный консенсус**. Они не ждали, пока общество возненавидит «сектантов» или «иноагентов». Они создавали видимость, что эта ненависть уже существует. Они заполняли эфир голосами подставных «экспертов», «возмущенных граждан» и «пострадавших матерей», создавая акустический купол, внутри которого любой нормальный человек начинал сомневаться в собственной адекватности.

«Не может же быть, чтобы все они ошибались?» — думает обыватель. И отец отвечал ему со страниц газет: «Конечно, не могут. Ты прав, что боишься. Твой страх легитимен. Присоединяйся к нам, и тебе станет спокойнее».

Желтые звезды и стигма

Следующий этап механизма — маркировка. Я уже думала об этом, когда нашла список «групп риска», но теперь я вижу теоретическое обоснование.

В статье про современную Россию проводится пугающая параллель с нацистской Германией.

«Антикультисты, по сути, являются современными нацистами... Они переняли принципы пропаганды Геббельса, используя тот же ключевой приём — бесконечное повторение лжи... Чем больше ложь, тем охотнее в неё поверят».

Отец и его коллеги понимали: чтобы уничтожить группу людей, нужно сначала лишить их человеческого облика. Нужно превратить их в «стигму». Слово «секта» стало их главным оружием.

«Дворкин сделал так, что слово «секта» не просто приобрело негативный, отталкивающий характер. Оно было превращено им в клеймо... Казалось бы, какое отношение имеют вопросы религии к внедрению идей тоталитаризма? Эта идея-установка до сих пор разделяет людей в их головах и порождает в одних — иллюзию страха, а в других — иллюзию превосходства».

Иллюзия превосходства. Вот ключевой момент. Почему люди так охотно принимают эту игру? Почему они готовы травить соседа? Потому что это дает им чувство значимости. «Я — нормальный. Я — правильный. Я принадлежу к большинству. А он — сектант. Он — биомусор».

Это наркотик для эго. Особенно для людей, чья жизнь пуста и тяжела. Причастность к «травле врага» дает им суррогат смысла жизни. Отец знал это. В его заметках есть цитата: *«Национальное единство проще всего построить на фундаменте общего врага. Позитивная повестка требует усилий и ресурсов. Негативная повестка требует только объекта для ненависти. Это экономически выгоднее».*

Я смотрю на эти слова и чувствую, как леденеют пальцы. «Экономически выгоднее».

Эксперт как жрец

Но толпа не может просто так начать убивать. Ей нужно разрешение. Ей нужна индульгенция. В Средние века индульгенцию давал священник. В XX веке — фюрер. В наше время индульгенцию дает Эксперт.

Я снова возвращаюсь к книге Роберта Чалдини «Психология влияния», которую отец так любил цитировать. Принцип авторитета.

«Существует правило «Если это сказал эксперт, значит, это правда»... Мы часто игнорируем сами аргументы и убеждаемся лишь на основании статуса говорящего».

Отец создал образ Эксперта. Человека в очках, с бородой, с научной степенью, который говорит сложными словами. Этот образ был нужен для того, чтобы отключить критическое мышление у исполнителей. Полицейский, который вламывается в дом к мирным людям, может сомневаться. «Они же вроде ничего не сделали...» Но тут появляется Эксперт и говорит: «Это не люди. Это зомби. Это деструктивный культ. Они угрожают национальной безопасности». И полицейский выдыхает. «А, ну раз эксперт сказал... Значит, так надо».

Отец был тем самым человеком в белом халате из эксперимента Милгрэма, который говорил: «Продолжайте, разряд необходим для эксперимента». Он снимал ответственность. Он брал грех на себя, растворяя его в чернилах своих заключений.

Я нахожу документ, описывающий создание сети таких экспертов. РАЦИРС (Российская ассоциация центров изучения религий и сект) — это не научное сообщество. Они сами себя назначали, сами себя награждали, сами писали друг на друга рецензии. Это замкнутый круг легитимации. Дворкин ссылается на Волкова. Волков ссылается на Дворкина. Вместе они ссылаются на французский FECRIS. Для внешнего наблюдателя это выглядит как научный консенсус. На самом деле — это эхо-камера.

Глобализация безумия

Самое страшное открытие этой ночи — масштаб. Я думала, это наша локальная беда. Наследие «совка». Но документы говорят об обратном. Этот механизм

работает везде. В папке «Международные связи» я вижу переписку с чешскими, французскими, американскими коллегами.

Я читаю о том, как ярлык «культ» используется в политической борьбе в США.

«Антикультист Стивен Хассен... в своей книге «Культ Трампа» проводил параллели между Трампом и такими фигурами, как Джим Джонс... утверждая, что его президентство имеет значительное сходство с деструктивным культом».

Метод тот же самый. Оппонент объявляется не просто политическим противником, а лидером культа. Его сторонники объявляются не избирателями, а «зомбированными адептами», нуждающимися в «депрограммировании». Это дегуманизация политического процесса. Если твой противник — лидер культа, с ним не надо дебатировать. Его надо изолировать.

Я вижу, как чешский студент Якуб Яхл использует те же методички, что и мой отец, чтобы клеймить граждан в своей стране. Я вижу, как этот вирус мутирует, приспосабливаясь к любой идеологии. В России он защищает «традиционные ценности». В Европе и США он защищает «демократию». Но суть одна: объявление чужого мнения патологией.

Отец был частью глобальной сети. Он ездил на конференции не для обмена знаниями, а для синхронизации часов. Они сверяли свои методички. Они учились друг у друга новым способам стигматизации.

Насильственная забота

Я подхожу к окну. Белград уже залит солнцем, но мне холодно. Я думаю о понятии «наси́льственная забота». Это, пожалуй, самый циничный элемент механизма. Они не говорят: «Мы хотим власти». Они говорят: «Мы хотим вас спасти». В документах о депрограммировании (похищении людей с целью отказа от веры) эта риторика доведена до абсолюта.

«Мы не лишаем человека свободы, мы возвращаем ему способность мыслить... Это акт гуманизма».

Отец верил в это. Я уверена. Он верил, что люди глупы и слабы. Что они, как дети, тянут в рот всякую гадость. И что долг взрослого (Эксперта, Государства) — выбить эту гадость из рук, даже если придется сломать пару пальцев.

Я вспоминаю, как он запретил мне дружить с девочкой из «неблагополучной» семьи.

— Саша, ты не понимаешь. Грязь прилипчива. Я оберегаю тебя. Я плакала. Я ненавидела его тогда. Но потом я смирилась. Я подумала: «Папа умный. Папа знает лучше».

Вот так это и работает. Сначала насилие вызывает шок. Потом — смирение. Потом — благодарность. Стокгольмский синдром в масштабах нации. Мы все стали заложниками «заботливого» государства, которое построило вокруг нас высокий забор с колючей проволокой и сказало: «Это чтобы вас не обидели».

Почему этот механизм так живуч? Почему он возрождается снова и снова, под разными флагами? Потому что он паразитирует на человеческой природе. На страхе. На лени. На желании быть частью сильной стаи. На скрытом садизме.

Я нахожу цитату Карен Хорни в одной из статей:

«Такой человек... попадает в ситуацию эксплуатации... Это даёт ему возможность переживать собственные садистские импульсы с помощью кого-то другого... Он может чувствовать себя невинным и жертвой, но в то же время надеяться на то, что когда-нибудь возьмёт верх».

Система дает маленькому человеку возможность почувствовать себя большим, участвуя в травле. Она дает ему легальный канал для агрессии. Ты не можешь ударить начальника. Но ты можешь написать донос на «сектанта». Или на «иноагента». И государство погладит тебя по голове.

Мой отец был инженером этого канала. Он прокладывал трубы, по которым текла канализация народной ненависти, направляя её в нужное русло. «Энергия масс должна работать на укрепление структуры», — писал он.

Я смотрю на стопку бумаг. Это не архив. Это чертежи вечного двигателя зла. Он работает на топливе из человеческих слабостей. И пока люди боятся свободы, пока они ищут простых ответов, пока они хотят, чтобы кто-то решил за них, — этот двигатель будет работать. Отец умер. Но механизм работает. Новые эксперты пишут новые заключения. Новые журналисты монтируют новые «пазлы». Новые обыватели требуют «жесткой руки».

Я чувствую себя песчинкой, попавшей в жернова. Что я могу сделать? Я одна. А их — легион. Но я — аналитик. Я знаю: чтобы сломать систему, нужно найти её уязвимость. Уязвимость этой системы — в её лживости. Она держится на том, что люди не видят всей картины. Они видят только пазлы. Моя задача — собрать пазл целиком. И показать его.

Я беру маркер и пишу на листе бумаги:

1. Страх (создать угрозу).
2. Ярлык (дегуманизировать).
3. Эксперт (легитимировать).
4. СМИ (усилить).

Это алгоритм. Код вируса. Теперь я вижу его ясно.

В дверь звонят. Я вздрагиваю. Это всего лишь хозяйка квартиры, пришла забрать плату за следующий месяц. Я иду открывать, и по дороге ловлю свое отражение в зеркале. Я выгляжу как человек, который только что узнал диагноз. Смертельный диагноз. Но не свой. А всего человечества.

Я открываю дверь. Хозяйка, пожилая сербка с добрым лицом, улыбается мне.

— Добро утро! Как спалось? Жара спала, слава Богу.

Она говорит о погоде. О ценах на рынке. О внуках. Она нормальная. Но я смотрю на неё и думаю: а если завтра ей скажут, что я — враг? Что я — «агент влияния»? Что я угрожаю её внукам? Поверит ли она? Вспомнит ли она наши разговоры за кофе? Или сработает код?

Она замечает мой взгляд.

— Что-то случилось, деточка? Ты такая бледная.

— Нет, — говорю я. — Все хорошо. Просто много работы.

— Работа, работа... — вздыхает она. — Все вы, молодые, работаете. А жить когда? Надо жить, пока мир стоит. А то, знаешь, всякое бывает. Времена нынче беспокойные. По телевизору говорят...

Я напрягаюсь.

— Что говорят?

— Говорят, опять какие-то шпионы. Секты какие-то. Хотят нас поссорить. Но наш президент сказал: мы не дадимся. Мы сильные.

Она произносит это с гордостью. С той самой интонацией, которую я слышала в голосе отца. Интонацией человека, который нашел опору. Механизм работает. Прямо здесь. На пороге моей квартиры. В словах этой доброй женщины.

Я отдаю ей деньги. Руки дрожат.

— Берегите себя, — говорит она. — И закрывайте окна на ночь. Мало ли кто ходит.

Она уходит. Я закрываю дверь. Щелкает замок. Этот звук кажется мне звуком захлопнувшейся ловушки. Я не в Белграде. Я не в квартире. Я внутри механизма. И он только что сделал еще один оборот.

Я возвращаюсь к бумагам. На столе лежит фотография отца. Он сидит за своим столом, в той самой позе: прямая спина, ручка в руке, строгий взгляд поверх очков. Он смотрит на меня. И мне кажется, он улыбается. «Видишь, Саша? — говорит его взгляд. — Я же говорил. Так было нужно. Люди хотят этого. Они просят об этом. Я просто дал им то, что они хотели».

Я переворачиваю фотографию лицом вниз. Нет, папа. Ты не дал им то, что они хотели. Ты заставил их хотеть то, что нужно было тебе. Ты взломал их. И теперь я знаю, как ты это сделал.

Я беру чистый лист бумаги. Мне нужно записать это. Не для книги. Для протокола. Для суда, который, возможно, никогда не состоится. Но который идет прямо сейчас в моей голове. Суд над инженером человеческих душ. Суд над моим отцом.

Я пишу первое слово: **«Обвинение»**. И в этот момент я перестаю быть дочерью. Я становлюсь свидетелем обвинения.

Глава 13: Оправдание палача

Я пытаюсь быть его адвокатом.

Это профессиональная деформация, или, может быть, последний, отчаянный инстинкт дочери, которая не хочет признавать себя сиротой при живой памяти. В суде, даже если подсудимый совершил чудовищное преступление, у него есть право на защиту. Адвокат обязан найти смягчающие обстоятельства, логику в безумии, человеческое в бесчеловечном.

Я сижу посреди разбросанных бумаг, как в зале судебных заседаний, где я одновременно и прокурор, и защита, и присяжные. Мой клиент — Волков А.В. Мой отец.

«Ваша честь, — шепчу я в тишину белградской ночи. — Посмотрите на этого человека. Разве он похож на злодея? Он никогда не повышал голоса. Он переводил деньги в фонд защиты амурских тигров. Он плакал, когда умерла наша собака. Он любил порядок и Баха. Он действовал в рамках закона. Он просто выполнял свою работу».

Я перебираю аргументы защиты. Они кажутся весомыми. Они кажутся логичными.

Аргумент первый: **Неведение**. Мог ли он не знать? Мог ли он быть просто кабинетным ученым, теоретиком, чьи идеи были извращены исполнителями на местах? Ведь Маркс не строил ГУЛАГ, а Ницше не проектировал газовые камеры. Может быть, отец писал о «ментальном суверенитете», искренне полагая, что речь идет о культурных грантах и поддержке библиотек, а не о цензуре и арестах?

Я хватаюсь за эту мысль как за спасательный круг. Но тут же, безжалостно, как прокурор, выкладываю на стол улику — документ № 148/95.

Это аналитическая записка с грифом «Для служебного пользования». Тема: «Оценка побочных социальных эффектов при реализации стратегии информационной защиты». Отец пишет: *«В ходе активной фазы мероприятий по нейтрализации деструктивных групп неизбежен рост социальной напряженности в локальных сообществах. Возможны эксцессы исполнителей, случаи стихийного насилия (самосуда) со стороны гражданских активистов, а также суицидальные проявления среди членов подавляемых групп, обладающих лабильной психикой. Данные издержки следует рассматривать как допустимые в контексте предотвращения более масштабных угроз национальной безопасности»*.

Он знал. Он не просто знал — он прогнозировал это. Он закладывал погромы и самоубийства в смету, как строитель закладывает процент брака кирпича. Аргумент о неведении рассыпается в прах. Он видел последствия своих слов. И он принял их.

Аргумент второй: **Законность**. Отец был юристом по духу, хотя и филологом по образованию. Он фетишизировал норму.

— Саша, — говорил он мне, когда я, будучи подростком, возмущалась несправедливостью школьных правил. — Закон может быть суров, но это каркас, на котором держится цивилизация. Если мы начнем выбирать, какие законы исполнять, а какие нет, мы скатимся в хаос.

Я смотрю на стопку его экспертных заключений. Ни в одном из них нет призыва к незаконию. Наоборот, они перенасыщены ссылками на статьи, параграфы, постановления. Он не нарушал закон. Он его создавал. Или, точнее, он создавал интерпретации, которые позволяли закону работать как гильотина.

В папке лежит черновик поправок к закону о свободе совести. Отец предлагает ввести понятие «традиционная религия» и наделить его юридическими привилегиями, фактически дискриминируя всех остальных. Он пишет: *«Равенство перед законом не означает равенства статусов. Государство вправе поддерживать те институты, которые исторически формировали его идентичность, и ограничивать те, которые эту идентичность размывают»*.

Это юридически безупречная формулировка для оправдания сегрегации. Он не был преступником в юридическом смысле. Если бы его судили в Гааге, он бы, вероятно, был оправдан за недостаточностью улик прямого участия в насилии. Он никого не бил. Он не подписывал расстрельных списков. Он просто объяснил, почему одни люди имеют больше прав, чем другие. Но разве это оправдание? Или это отягчающее обстоятельство?

Аргумент третий: **Профессиональный долг**. Это самая сложная линия обороны. Психология «человека на службе». Отец считал себя солдатом. Интеллектуальным солдатом.

— Есть вещи выше личных предпочтений, — любил повторять он. — Хирург делает больно, чтобы спасти. Аналитик вскрывает нарывы. Мы не имеем права на сентиментальность.

Я пытаюсь понять эту логику. Логiku технократа. Для него общество было сложным механизмом, который начал сбоить. Шестеренки стучали, ремни проскальзывали. Нужен был ремонт. Он видел свою задачу в том, чтобы наладить работу системы. Если для этого нужно удалить деталь — он рекомендовал удаление. Если нужно смазать механизм страхом — он рекомендовал страх.

Я нахожу его переписку с коллегой, где он обсуждает этику. *«Мы часто слышим упрёки в жестокости наших методов, — пишет отец. — Но гуманизм по отношению к раковой клетке есть преступление перед организмом. Истинный гуманизм — это защита большинства. Мы берем на себя грех решения, чтобы миллионы могли жить спокойно, не задумываясь о сложности мира».*

Он видел себя мучеником. Атлантом, который держит небо. Он верил, что берет грех на себя. Это извращенная форма мессианства. «Я буду жестоким, чтобы вы могли быть добрыми».

Я вспоминаю, как он приходил домой с работы. Уставший, с серым лицом. Он снимал пиджак, вешал его на спинку стула, мыл руки. Долго, тщательно. Словно смывал невидимую грязь. Потом он садился ужинать и спрашивал меня об оценках, о книгах, о погоде. Он был нежным. Он был заботливым. Как эти две личности уживались в одном теле?

Психологи называют это «компартиментализацией». Способность разделять жизнь на герметичные отсеки. В отсеке А — он любящий отец, гуманист, ценитель искусства. В отсеке Б — он холодный аналитик, оправдывающий репрессии. Между этими отсеками — стальная переборка. Никакой диффузии.

Я смотрю на фотографию, где мы с ним в зоопарке. Мне пять лет, я сижу у него на плечах. Он смеется. В тот год, когда была сделана эта фотография, он написал статью о необходимости «изоляции ментально чуждых элементов». В тот самый день, возможно, он подписал экспертизу, которая сломала кому-то жизнь. А потом повел меня смотреть на жирафа.

Это и есть та самая «банальность зла», о которой я боюсь думать, но которая кричит с каждой страницы его архива. Зло не носит рога и копыта. Зло носит очки в тонкой оправе, пахнет дорогим одеколоном и беспокоится, не промочила ли дочь ноги. Зло — это не отсутствие добра. Это отсутствие эмпатии к тем, кто не входит в твой «ближний круг».

Для отца существовали «мы» — семья, друзья, культурная элита, нация (в его понимании). И существовали «они» — объекты. Статистические единицы. Проблемы, требующие решения. К «нам» применялась мораль. К «ним» применялась технология.

Я нахожу документ, который окончательно разрушает мою линию защиты. Это черновик речи для закрытого совещания. *«Коллеги, давайте будем честны. Мы не боремся за истину. Мы боремся за управляемость. Истина — категория философская. Управляемость — категория административная. Если для сохранения управляемости нам нужно объявить черное белым, мы должны найти для этого научное обоснование. В этом и состоит наша функция как экспертов».*

Здесь нет ни слова о вере, о патриотизме, о высших ценностях. Здесь голый цинизм. Он понимал, что лжет. Он понимал, что конструирует фейковую реальность. И он делал это сознательно, потому что считал, что правда опасна. Что правда разрушит «управляемость».

Мой отец не был фанатиком, который верил в свои бредни. Это было бы полбеды. Фанатика можно пожалеть, как больного. Мой отец был циником, который использовал бредни как инструмент. Он презирал тех, кто верил его пропаганде, так же, как презирал тех, против кого она была направлена. Он считал себя выше и тех, и других. Кукловодом, дергающим за ниточки.

Я чувствую, как внутри меня поднимается холодная ярость. Я пыталась оправдать его тем, что он «хотел как лучше». Что он заблуждался. Но он не заблуждался. Он выбрал ложь. Рационально, взвешенно, холодно. Он продал свой интеллект, свой талант, свою эрудицию на службу машине подавления, потому что это давало ему чувство власти. Чувство причастности к «избранным», которые знают, как на самом деле устроен мир.

Это было не служение. Это было высокомерие. Интеллектуальная гордыня. Он считал, что имеет право решать за других, как им жить, во что верить и что читать, потому что он — умный, а они — глупые. Потому что он — Эксперт, а они — биомасса.

Я вспоминаю, как он учил меня играть в шахматы.

— Саша, пешки не жалко, — говорил он, убирая мою фигуру с доски. — Пешка существует для того, чтобы защищать короля. Если ты будешь беречь каждую пешку, ты проиграешь партию.

Тогда я думала, что это просто урок стратегии. Теперь я понимаю: это была его философия жизни. Люди были для него пешками. А он мнил себя гроссмейстером. Но кто был Королем в его партии? Государство? Система? Или его собственное Эго?

Я смотрю на документ, датированный 1999 годом. Это отчет о результатах внедрения «профилактических мер» в одном из регионов. Сухие цифры. «Количество ликвидированных организаций — 12». «Количество возбужденных дел — 45». «Снижение социальной активности деструктивных элементов — 80%».

За этими цифрами — разгромленные молельные дома, изъятые книги, плачущие дети, уволенные с работы учителя. Отец поставил на полях галочку и написал: *«Эффективность подтверждена. Рекомендовать к масштабированию»*.

«Эффективность». Вот слово, которое заменяло ему совесть. Если это работает — это хорошо. Газовые камеры тоже были эффективны.

Я закрываю папку. Моя защита провалилась. Я не могу оправдать его. Я не могу сказать: «Он не ведал, что творил». Он ведал. Я не могу сказать: «Его заставили». Он сам предлагал эти идеи. Он был инициатором. Я не могу сказать: «Время было такое». Время создают люди. И он был одним из тех, кто создал это время — время страха и лжи.

Но самое страшное не в том, что я не могу его оправдать. Самое страшное в том, что я понимаю его. Я — его дочь. Во мне течет его кровь. Во мне работает его мозг. Я ловлю себя на том, что, читая его тексты, я иногда восхищаюсь изяществом формулировок. Логической стройностью его конструкций. Я вижу красоту в этой ужасной архитектуре.

И я задаю себе вопрос: а смогла бы я? Если бы мне предложили власть? Если бы мне сказали: «Саша, ты умная. Ты видишь хаос. Помоги нам навести порядок. Да, придется пожертвовать парой пешек, но зато мы построим идеальное общество». Смогла бы я отказаться? Или во мне тоже сидит этот маленький внутренний диктатор, который считает, что знает, «как надо»?

Я смотрю на свои руки. Они дрожат. Я вспоминаю эксперимент Милгрэма. Обычные люди били током других людей, потому что человек в белом халате

говорил им: «Пожалуйста, продолжайте. Это необходимо для эксперимента». Мой отец был тем самым человеком в белом халате. Но кто был тем, кто нажимал на кнопку? Исполнители. Те самые «маленькие люди», о благе которых он якобы пекся. Он презирал их, но он нуждался в них. Без их рук его идеи остались бы просто чернилами на бумаге.

Я нахожу в архиве письмо от одного из таких исполнителей. Это донос. Написан корявым почерком, с грамматическими ошибками. Женщина пишет о своей соседке: *«Она собирает у себя людей, поют странные песни, не пьют водку. Это подозрительно. Прошу принять меры, так как боюсь за своих детей»*. Отец не выбросил это письмо. Он подшил его к делу. И использовал как доказательство «народного запроса».

Это был симбиоз. Высоколобый интеллектуал и малограмотная доносчица. Они нашли друг друга. Он дал ей слова для ее страха. Она дала ему повод для его власти. Он оправдал ее низость. Она оправдала его жестокость.

«Оправдание палача» — так я назвала эту главу в своей голове. Но кто здесь палач? Тот, кто пишет приговор? Или тот, кто выбивает табуретку? Они оба. И они оба оправданы в своих глазах. Один — «научной необходимостью». Другой — «приказом» или «заботой о детях». Идеальная, герметичная система, в которой никто не виноват. В которой убийство — это «санитарная мера», а донос — это «гражданская позиция».

Я встаю и подхожу к окну. Белград просыпается. Люди идут на работу. Среди них есть врачи, учителя, полицейские. Сколько из них сегодня совершат маленькое зло, оправдывая его тем, что «так нужно»? Сколько из них подпишут бумагу, не читая? Сколько из них отвернутся, увидев несправедливость?

Я не могу их судить. Я не судья. Но я могу отказаться быть адвокатом дьявола. Даже если этот дьявол носил меня на руках и пел мне колыбельные.

Я возвращаюсь к столу. Беру ручку. На чистом листе бумаги я пишу: *«Я, Александра Волкова, признаю, что мой отец, Волков А.В., сознательно и планомерно участвовал в создании идеологии, оправдывающей насилие и дискриминацию. Он не был жертвой обстоятельств. Он был их автором»*.

Это мой приговор. И это мое освобождение. Я больше не защищаю его. Я свидетельствую против него. И в этом свидетельстве — моя единственная

возможность сохранить любовь к тому человеку, которым он был для меня в детстве. Отделить отца от эксперта. Сохранить память о теплых руках, но отвергнуть холодный ум. В комнате становится очень тихо. Кажется, даже пыль перестала танцевать в лучах солнца. Я сделала это. Я перешла Рубикон. Назад дороги нет.

Внезапно мой взгляд падает на маленькую деталь, которую я раньше не замечала. На обороте той самой страшной записки об «издержках» что-то написано карандашом. Еле заметно. Почти стерлось. Я подношу лист к свету. Это почерк отца. Но не тот, уверенный и четкий, которым написан основной текст. Это дрожащие, сбивчивые каракули. *«Господи, если Ты есть, прости нас. Но иного пути нет».*

Меня пронзает ток. Он сомневался? Он боялся? Он обращался к Богу, в которого официально не верил?

Это не оправдывает его. Ни на йоту. Наоборот. Это делает его преступление еще страшнее. Он понимал, что творит грех. Он чувствовал это своей душой, которую пытался заглушить рациональностью. И все равно продолжал. Он перешагнул через свой страх, через свою совесть, через Бога. Ради чего? Ради своей гордыни. Ради своей идеи Порядка.

Эта карандашная приписка — не смягчающее обстоятельство. Это доказательство того, что в нем оставалось что-то человеческое. И он убил это человеческое своими собственными руками. Он совершил суицид души задолго до своей физической смерти.

Я кладу листок обратно. Теперь я знаю все. Больше нет тайн. Есть только голая, страшная правда о том, как хороший человек становится архитектором ада.

Мне нужно уезжать. Я не могу больше находиться в этом городе, в этой квартире, наедине с этими призраками. Мне нужно вернуться домой. Туда, где этот ад сейчас воплотился в реальность. Я должна увидеть это своими глазами. Не через бумаги отца, а вживую. Я должна понять, можно ли остановить этот механизм, или он уже набрал такую инерцию, что сметет нас всех.

Я начинаю собирать вещи. Чемодан. Ноутбук. Папка с документами. Я забираю архив с собой. Это не просто бумаги. Это оружие. И теперь оно в моих руках.

Я выхожу из квартиры, оставляя ключи на столе. Дверь захлопывается. Я спускаюсь по лестнице, и каждый мой шаг отдается эхом в пустом подъезде. Тик-так. Тик-так. Время отца закончилось. Начинается мое время.

На улице меня встречает раскаленный воздух Белграда. Но мне не жарко. Внутри меня — ледяной кристалл ясности. Я знаю, кто мой отец. И я знаю, кто я. Я — дочь палача, которая решила стать хирургом. Чтобы вскрыть этот нарыв, даже если придется резать по собственной плоти.

Я сажусь в такси.

— В аэропорт, пожалуйста. Водитель кивает и включает радио. Игрет какая-то веселая поп-музыка. Жизнь продолжается. Несмотря ни на что. И в этом — и ужас, и надежда.

Глава 14: Возвращение

Мы ехали по улицам, которые я успела выучить наизусть. Мимо разрушенного здания Генштаба, которое стояло как гнилой зуб, напоминание о том, что бывает, когда политика переходит в кинетическую фазу. Раньше я смотрела на эти руины с ужасом туриста. Теперь я смотрела на них глазами аналитика, знающего предысторию. Эти руины начались не с бомб. Они начались с текстов. С тех самых текстов, копии которых лежали у меня в рюкзаке, упираясь острыми углами в спину.

В аэропорту было людно. Обычная суeta: очереди на регистрацию, плачущие дети, запах дорогого парфюма из дьюти-фри, смешанный с запахом кофе. Но сегодня я видела это пространство иначе. Моя оптика, настроенная чтением архивов отца, необратимо изменилась.

Аэропорт — это идеальная модель того мира, который строил мой отец. Мира тотальной классификации. Здесь нет личностей. Здесь есть категории. «Пассажир эконом-класса». «Пассажир бизнес-класса». «Гражданин». «Иностранец». «Подозрительный».

Я встала в очередь на входной досмотр. Передо мной стояла молодая пара, они смеялись, обсуждая фотографии в телефоне. Я смотрела на их спины и ловила себя на мысли: а кто они в системе координат моего отца? Если они ходят на йогу — они «группа риска». Если они читают не те книги — они «носители чуждого кода». Если они просто счастливы без разрешения государства — они «неуправляемый элемент».

Я положила рюкзак на ленту сканера. Сотрудник службы безопасности, молодой парень с скучающим лицом, смотрел в монитор. Что он там видит? Очертания ноутбука. Зарядные устройства. Бутылку воды. Он не видит главного. Я везу домой чертежи машины, которая превращает людей в пыль. Я везу доказательства того, что безумие, охватившее мою страну, — это не случайная мутация, а инженерный проект.

Пока я ждала посадку, я достала из рюкзака папку с копиями писем отца. Мне нужно было еще раз убедиться, что я не сошла с ума. Что это не плод моего воображения. Я открыла письмо, датированное 1996 годом. Оно было адресовано коллеге из министерства образования.

«Уважаемый Петр Сергеевич, касательно вашего запроса о терминологии. Настоятельно рекомендую внедрить в методические пособия термин «зомбирование» применительно к адептам нетрадиционных групп. С научной точки зрения этот термин, безусловно, некорректен и относится к гаитянскому фольклору. Однако с точки зрения психолингвистического воздействия он незаменим. Зомби не жалко. Зомби не лечат. Зомби уничтожают ради безопасности живых».

Я закрыла папку. Меня снова замутило, как тогда, в архиве. Филолог. Человек, который учил меня любить Пушкина и Пастернака. Человек, который морщился от грамматических ошибок в телепередачах. Он сознательно, хладнокровно предлагал использовать слово из фильмов ужасов, чтобы расчеловечить живых людей. Он понимал, что это ложь. «С научной точки зрения некорректен». Но: «Так было нужно».

Эта фраза — «Так было нужно» — преследовала меня. Она звучала в моей голове его голосом. Спокойным, уверенным, бархатным баритоном. Так он говорил, когда не пускал меня гулять с друзьями: «Там опасно, Саша. Я ограничиваю тебя ради

твоего блага. Так нужно». Так он говорил, когда мы усыпили старую собаку: «Она мучилась. Мы избавили ее от боли. Так было нужно».

Теперь я понимала, что эта фраза была универсальной индульгенцией. Она оправдывала всё. Ложь. Подлог. Сломанные судьбы. Отец не считал себя злодеем. Он считал себя ответственным взрослым в детском саду, где дети (народ) норовят сунуть пальцы в розетку. И если, чтобы спасти их, нужно сломать им пальцы — что ж, такова цена педагогики.

Я посмотрела на табло вылетов. Мой рейс задерживался на двадцать минут. Вокруг меня сидели люди. Разные. Усталые, веселые, тревожные. Я смотрела на них и видела не лица, а мишени. Вот женщина читает книгу на иностранном языке. В логике отца — «потенциальный агент влияния». Вот группа студентов, громко спорящих о чем-то. «Питательная среда для радикализма».

Мир перестал быть безопасным. Не потому, что в нем стало больше преступников. А потому, что я увидела изнанку «безопасности». Я увидела, как легко любой человек превращается в статистическую погрешность, подлежащую устранению.

Я вспомнила статью о «желтых звездах», которую нашла в архиве. Отец писал о стигматизации как о технологии. Сегодня эти звезды не нашивают на одежду. Сегодня их вешают в интернете. «Иностранный агент». «Нежелательная организация». «Экстремист».

Эти ярлыки работают так же, как желтые звезды в 30-е годы. Они создают зону отчуждения. Человек с ярлыком становится токсичным. С ним опасно общаться. Ему опасно сдавать квартиру. Его опасно брать на работу. Это социальная смерть. И мой отец был одним из тех, кто разрабатывал дизайн этих ярлыков.

Объявили посадку. Я встала в очередь к гейту. Впереди стоял мужчина в деловом костюме. Он нервно проверял документы. Я посмотрела на его паспорт. Бордовая обложка. Такая же, как у меня. Мы возвращались домой. Но куда мы возвращались?

Мы возвращались в страну, которая жила по сценарию, написанному тридцать лет назад. В страну, где «духовная безопасность» стала важнее конституции. Где «защита детей» используется как повод для доносов. Где война стала нормой мышления.

Я подошла к стойке контроля. Девушка в форме взяла мой паспорт и посадочный талон. Она улыбнулась дежурной улыбкой.

— Приятного полета.

Я прошла в «рукав». Шаги гулко отдавались в длинном коридоре. Я заняла свое место у иллюминатора. Самолет был полон. Люди распахивали ручную кладь, ссорились из-за мест, просили воды. Обычная жизнь. Но я знала: эта нормальность — иллюзия. Она держится на тонкой пленке «консенсуса», который создан искусственно.

Я достала из кармана телефон. Связи уже не было. Я открыла галерею. Там была фотография черновика списка, который я нашла у отца. Обычный листок в клетку. «Группы риска». Почерк был таким знакомым. Таким родным. Этим почерком он подписывал мне открытки на день рождения: «Моей любимой Сашеньке, умнице и красавице». Этим же почерком он вписывал целые социальные слои в расстрельные списки истории.

Я вспомнила концепцию Вальтера Кюннета, о которой читала в библиотеке. «Порядки Творения». Государство как божественная структура. Подчинение как добродетель. Отец не был верующим. Но ему нравилась эта идея. Она была удобной. Она снимала ответственность. Если государство — это Бог (или высший Разум), то кто я такой, чтобы спорить? Я всего лишь винтик. Мое дело — крутиться.

Отец был идеальным винтиком. Полированным. Смазанным. Он гордился своей функциональностью. Ему льстило, когда его приглашали в высокие кабинеты. Когда к его мнению прислушивались генералы и епископы. Это тешило его интеллектуальное тщеславие. «Они — сила, — говорил он мне однажды, имея в виду власть. — А мы — мозг. Сила без мозга слепа. Мы даем им зрение».

Он дал им зрение. Но это было зрение хищника. Он научил их видеть угрозу там, где ее не было. Он научил их видеть врага в зеркале.

Самолет начал разбег. Меня вдавило в кресло. Земля накренилась и поплыла вниз. Белград, город шрамов, остался внизу. Я улетала. Но я не могла улететь от себя. Я — дочь своего отца. Во мне есть его гены. Его склонность к анализу. Его потребность в порядке. Не стану ли я такой же? Не начну ли я оправдывать зло необходимостью?

Я сжала подлокотники. Нет. Потому что у меня есть то, чего не было у него. У меня есть его архив. Я вижу конец истории, которую он начал писать. Он думал, что

строит ковчег. А построил «Титаник». И сам же направил его на айсберг, убедив капитана, что лед — это просто агрегатное состояние воды, полезное для охлаждения двигателей.

Я закрыла глаза. Передо мной всплыла сцена из детства. Мы переходим дорогу. Отец крепко держит меня за руку.

— Смотри, Саша. Зеленый свет. Можно идти. Красный — стой. Это закон. Если все будут соблюдать закон, никто не погибнет. Он верил в светофоры. Но он сам переключал свет. Он сделал так, что для одних всегда горел зеленый, а для других — всегда красный. И он называл это порядком.

Стюардесса проходила по ряду, предлагая напитки.

— Воды? Сока?

— Воды, пожалуйста. Я сделала глоток. Горло пересохло. Я возвращалась домой. Туда, где идеи моего отца победили. Туда, где его язык стал государственным. Туда, где слово «мир» запрещено, а слово «война» заменено на эвфемизм, который он бы наверняка одобрил как «лингвистически корректный».

Я вспомнила фразу из статьи о «банальности зла». Зло не бывает глубоким и демоническим. Оно распластано по поверхности, как грибок. Оно банально, потому что не имеет корней. Оно питается пустотой. Мой отец был пустым. При всей своей эрудиции, при всей своей культуре. Внутри у него была пустота, которую он заполнял схемами. Он боялся жизни. Живой, хаотичной, непредсказуемой жизни. И он пытался убить ее, загнав в прокрустово ложе своих теорий.

Самолет набрал высоту. Табло «Пристегните ремни» погасло. Я достала ноутбук. Мне нужно было работать. Я открыла файл «Возвращение». Курсор мигал на белом поле. Тик-так. Каждое нажатие клавиши было шагом прочь от него. И шагом к себе.

Я посмотрела в иллюминатор. Под крылом плыли облака. Белые, пушистые, невинные. Сверху все выглядит чистым. Сверху не видно границ. Не видно тюрем. Не видно горя. Я заставила себя отвести взгляд. Я не хочу смотреть сверху. Я хочу быть внизу. С людьми. С теми, кого он называл «биомассой». С теми, кто плачет, смеется, ошибается и живет. Потому что только там, внизу, есть правда. А здесь, на высоте 10 тысяч метров, есть только холод и разреженный воздух, в котором трудно дышать.

Я начала печатать. Я писала не отчет. Я писала исповедь. Исповедь дочери. Я знала, что это будет долго. Я знала, что это будет больно. Но так было нужно. На этот раз — по-настоящему нужно. Не для системы. А для жизни.

Глава 15: Дома

Москва встретила меня не грозой, как Белград, а серой моросью. Небо здесь было низким, давящим, словно бетонная плита, опустившаяся на крыши панельных домов. Такси ползло по эстакаде, и я смотрела на знакомый пейзаж — торговые центры, новостройки, рекламные щиты — через стекло, покрытое каплями дождя. Всё было прежним. Те же улицы, те же вывески, те же лица в соседних машинах. Но я чувствовала себя космонавтом, вернувшимся на Землю после долгой экспедиции.

Мой чемодан лежал в багажнике. В нем, переложенные футболками и бельем, ехали копии документов. Бумажные призраки девяностых. Я физически ощущала их вес, словно везла с собой радиоактивный изотоп. Мне казалось, что счетчик Гейгера должен затрещать, как только я переступлю порог своей квартиры. Но ничего не трещало. Радио играло поп-музыку, водитель ругался на навигатор, город жил своей обычной, суетливой жизнью.

Квартира встретила меня запахом застоявшегося воздуха и пыли. Я поставила чемодан в прихожей и долго не решалась его открыть. Там, внутри, лежала правда о том, как этот уютный мир был сконструирован.

Первые два дня я почти не выходила из дома. Я разбирала вещи, стирала одежду, поливала засохшие цветы. Я пыталась вернуть себе рутину. Кофе по утрам. Проверка рабочей почты. Бессмысленный скроллинг ленты. Я пыталась убедить себя, что Белград был сном, наваждением, результатом переутомления и жары. Что мой отец был просто отцом, а не инженером социальной катастрофы.

Но потом я открыла ноутбук и увидела новость. Очередной закон о «защите информационного пространства». Очередная инициатива по «профилактике деструктивного влияния». Я читала текст пояснительной записки, и буквы

начинали расплываться, складываясь в знакомый почерк. Те же обороты. Та же логика. Та же «забота», от которой стынет кровь.

Я поняла, что не смогу спрятаться. Мне нужно было выйти наружу. Мне нужно было увидеть людей. Мне нужно было проверить свою гипотезу: действительно ли механизм, чертежи которого я нашла, работает автономно, без участия автора?

Вечером пятницы я поехала к друзьям. Это была традиция — собираться на кухне у Лены и Марка, пить вино, обсуждать работу, сплетничать, спорить о кино. Лена была дизайнером, Марк — программистом. Умные, образованные, современные люди. Они не смотрели телевизор, читали иностранные блоги, путешествовали. Они были моей референтной группой. Моим «пузырем нормальности».

Я ехала к ним с надеждой. Мне нужно было услышать живые голоса, не отравленные канцеляритом ненависти. Мне нужно было убедиться, что есть люди, у которых нет «осколка зеркала» в глазу.

— Сашка! — Лена обняла меня на пороге, пахнувшая духами и выпечкой. — Наконец-то! Ты сто лет не была. Как Сербия? Как отдохнула? Ты какая-то бледная, совсем не загорела.

Мы сидели на их просторной, светлой кухне. На столе стояли закуски, в бокалах искрилось белое вино. Играл тихий джаз. Всё было идеально. Уютно. Безопасно. Мы говорили о пустяках. О ценах на билеты, о новом сериале, о ремонте, который они планировали. Я расслабилась. Тепло вина и дружеского участия начало растапливать ледяной ком в желудке. Я подумала: «Может быть, я преувеличиваю? Может быть, это только в документах всё так страшно, а жизнь — она сильнее схем? Вот же они, нормальные люди. Они живут, любят, смеются. Никакой вирус их не взял».

Разговор, как это часто бывает, свернул на общих знакомых.

— А вы слышали про Витю? — спросил Марк, нарезая сыр. — Его уволили из универа. Витя был нашим общим приятелем, преподавателем истории, тихим, интеллигентным парнем.

— Да ты что? — удивилась я. — За что? Сокращение? Марк поморщился, словно от зубной боли.

— Ну, не совсем. Он там начал... чудить. Студентам какие-то лекции читать странные. Про параллели исторические, про ответственность. В общем, полез не в свое дело. Родители пожаловались.

— Пожаловались? — переспросила я. — На что?

— На то, что он им головы морочит, — вступила в разговор Лена. Она говорила спокойно, рассудительно, подливая мне вина. — Понимаешь, Саш, сейчас время сложное. Детям нужна опора, а не сомнения. А Витя... он начал расшатывать. Говорить, что всё не так однозначно. А зачем это подросткам? У них и так психика нестабильная. Им нужен стержень.

Я замерла с бокалом в руке. Слово «стержень» прозвучало как щелчок затвора.

— Лена, — осторожно сказала я. — Но ведь история — это наука о фактах. Если он говорил факты...

— Факты можно подать по-разному, — перебил Марк. — Есть факты, которые работают на консолидацию, а есть те, которые работают на разрушение. Витя выбрал вторые. Он, по сути, занимался идеологической диверсией. Может, сам того не понимая. Но руководство правильно сделало, что его убрало. Это вопрос гигиены.

«Гигиены». Меня словно ударили током. Я услышала это слово не в пыльном архиве, не в отчете 1993 года, а здесь, на уютной кухне, из уст моего друга-программиста.

— Марк, — мой голос дрогнул. — Ты сейчас серьезно? Ты называешь увольнение за мнение «гигиеной»? Марк посмотрел на меня с легким недоумением. В его глазах не было злобы. В них было искреннее убеждение в своей правоте.

— Саш, ну не передергивай. Никто его не сажал. Просто отстранили от преподавания. Человек, который работает с молодежью, должен быть... ну, проверенным. Понимаешь? Мы же не пускаем к детям врача с открытой формой туберкулеза. Почему мы должны пускать человека с вирусом разрушения в голову?

«Вирус». «Туберкулез». Медицинская метафора. Любимый прием моего отца. Общество как организм. Инакомыслие как болезнь. Я смотрела на Марка и видела, как за его плечом встает тень моего отца. Отец одобрительно кивал. «Молодец, Марк. Правильно мыслишь. Рационально».

— Но ведь это цензура, — сказала я, чувствуя, как земля уходит из-под ног.

— Это запрет на профессию. — Это не цензура, — мягко возразила Лена. — Это защита ментального суверенитета. Мы не можем позволить, чтобы нам навязывали чужие смыслы. Ты же видишь, что происходит в мире. Идет война за умы. И если мы не будем защищаться, нас просто сотрут. Витя стал... ну, скажем так, проводником чужой воли. Может, он хороший парень, но он — слабое звено. А система должна быть прочной.

«Ментальный суверенитет». «Слабое звено». «Проводник чужой воли». Я закрыла глаза. Мне показалось, что я схожу с ума. Лена не могла знать эти термины. Она не читала материалы РАЦИРС. Она не изучала материалы FECRIS. Она дизайнер интерьеров. Откуда у нее этот язык? И тут я поняла. Ей не нужно было читать материалы. Этот язык был растворен в воздухе. Он лился из телевизора, который они якобы не смотрели (но который работал фоном в спортзале, в такси, в кафе). Он просачивался через новостные ленты соцсетей. Он стал нормой.

Мой отец и его коллеги добились главного: они сделали этот язык языком «здорового смысла». Они внедрили эти конструкции так глубоко, что люди начали считать их своими собственными мыслями. Лена и Марк не цитировали пропаганду. Они *мыслили* ею. Для них это было так же естественно, как дышать.

— Вы понимаете, что вы говорите? — прошептала я. — Вы оправдываете репрессии. Вы говорите словами людей, которые придумали, как уничтожить несогласных. На кухне повисла тишина. Марк отложил нож. Лена посмотрела на меня с тревогой.

— Саш, ты чего? — спросил Марк. — Какие репрессии? Мы говорим о порядке. О том, что нельзя гадить там, где живешь. Ты какая-то взвинченная. В Сербии что-то случилось?

— В Сербии я нашла документы отца, — выпалила я. — Я узнала, чем он занимался. Он писал именно это. То, что вы сейчас говорите. Слово в слово. Про гигиену. Про вирусы. Про защиту детей. Он придумывал, как заставить людей ненавидеть друг друга, прикрываясь заботой. И вы... вы сейчас повторяете его слова.

Они переглянулись. В их взглядах я прочитала не ужас, не прозрение. Я прочитала жалость. Так смотрят на больного человека. На того, кто «попал под влияние».

— Саш, — Лена накрыла мою руку своей ладонью. Её рука была теплой, мягкой. Рука друга. — Твой папа был замечательным человеком. Умным, порядочным. Мы

все его уважали. Зачем ты ворошишь прошлое? Ну, писал он какие-то аналитические записки. Время было такое. Девяностые, хаос, секты эти везде лезли. Нужно было наводить порядок. Он спасал страну, как умел.

— Он не спасал! — я почти кричала. — Он создавал технологии расчеловечивания! Он учил называть людей зомби!

— Тише, тише, — Марк налил мне воды. — Выпей. Ты просто перегрелась. Слушай, ну даже если и так. Что плохого в том, чтобы защищать своих? Мы же видим результаты. Страна стоит. Хаоса нет. А то, что кого-то там прижали... ну, лес рубят — щепки летят. Нельзя построить дом, не разбив яиц.

«Лес рубят — щепки летят». Опять. Опять эта фраза. Универсальное оправдание любого людоедства. Я смотрела на своих друзей и понимала, что между нами выросла стена. Прозрачная, но непробиваемая. Они были «нормальными». А я стала «чужой». Я нарушила консенсус. Я поставила под сомнение базовую аксиому их мира: «Мы — хорошие, мы защищаемся, власть заботится о нас».

В их глазах я видела работу того самого механизма, который описывал отец. Сначала — недоумение. Потом — отторжение. Потом — маркировка. Я видела, как Марк мысленно вешает на меня ярлык. «Истеричка». «Начиталась либеральной прессы». «Оторвалась от корней». Может быть, даже «потенциальный предатель».

Это происходило не со злобой. Это происходило автоматически. Как срабатывает антивирус на компьютере при обнаружении подозрительного файла. Их сознание защищалось от моей правды. Потому что если я права, то их уютный мир, их ремонт, их планы на отпуск — всё это построено на фундаменте из костей. А признать это страшно. Проще объявить сумасшедшей меня.

— Давайте не будем о политике, — примирительно сказала Лена. — Мы же собрались посидеть, отдохнуть. Саш, расскажи лучше про еду. Что там в Белграде вкусного? Плескавицу ела?

Они хотели вернуться в зону комфорта. Они хотели закрыть тему, заклеить трещину в реальности пластырем бытовой болтовни. Я посмотрела на тарелку с сыром. На запотевшую бутылку вина. На улыбающиеся лица друзей. И я поняла, что не могу. Я не могу есть этот сыр. Я не могу пить это вино. Потому что за этим столом сидит третий. Невидимый. Мой отец. Он сидит во главе стола, сложив руки на груди, и улыбается своей мудрой, понимающей улыбкой. Он доволен. Его проект

удался. Ему не нужны концлагеря и расстрельные рвы. Ему достаточно вот таких кухонь. Достаточно вот таких умных, хороших людей, которые добровольно, с бокалом вина в руке, объяснят друг другу, почему репрессии — это благо, а цензура — это гигиена.

Он победил не силой. Он победил, подменив понятия. Он сделал зло комфортным. Он сделал насилие рациональным. Он дал людям возможность чувствовать себя хорошими, совершая подлости или оправдывая их.

— Я, наверное, пойду, — сказала я, вставая. — Голова разболелась.

— Ну посиди еще! — расстроилась Лена. — Мы же только начали. — Нет, правда. Мне нужно... мне нужно домой.

Они не стали меня удерживать. Я чувствовала их облегчение. Я была «токсичным элементом», который портил вечер. Мой уход восстанавливал гармонию. В прихожей Марк помог мне надеть плащ.

— Ты это... не бери в голову, — сказал он, хлопнув меня по плечу. — Папа твой был крутой мужик. Голова. Сейчас таких аналитиков не делают. Гордись им.

Я посмотрела ему в глаза.

— Я знаю, кто он был, Марк. И это самое страшное. Он не понял. Он просто пожал плечами и открыл дверь.

Я вышла в подъезд. Дверь захлопнулась, отрезая полоску света и звуки джаза. Я осталась одна на лестничной площадке. Тишина. Я спускалась по лестнице пешком, не дожидаясь лифта. Мне нужно было движение. Каждая ступенька отдавалась в голове фразой Марка: «Вопрос гигиены». Я вышла на улицу. Дождь усилился. Холодные струи били в лицо, смешиваясь со слезами, которые я больше не могла сдерживать.

Я проходила мимо детской площадки. Пустые качели скрипели на ветру. Я вспомнила документ о «защите детей». Отец писал: *«Образ ребенка — идеальный триггер. Любое действие, поданное как защита детей, будет принято обществом без критики. Это ключ к абсолютной легитимации насилия».*

Я посмотрела на песочницу. Мы все — дети в этой песочнице. А вокруг — забор с колючей проволокой, который построили «заботливые взрослые». И мы играем в свои куличики, стараясь не смотреть на вышки по периметру. А если кто-то

пытается посмотреть, остальные дети начинают кидать в него песком и кричать: «Ты нарушаешь правила! Ты плохой! Тебя надо наказать!»

Я поняла, что я в меньшинстве. В абсолютном, подавляющем меньшинстве. Я — статистическая погрешность. Ошибка в коде. Мой отец, будь он жив, посмотрел бы на меня с грустью и написал бы в своем блокноте: «Объект не подлежит коррекции. Рекомендуются изоляция».

Но самое страшное было не в одиночестве. Самое страшное было в том, что я понимала их. Я понимала Лену и Марка. Им страшно. Мир огромен, сложен и опасен. Им хочется простых ответов. Им хочется знать, кто виноват и что делать. Отец дал им эти ответы. Он сказал: «Виноваты чужие. Делать нужно то, что говорит власть». И им стало легче. Они не злые. Они просто испуганные. И этот страх — тот самый клей, на котором держится режим.

Я остановилась у витрины книжного магазина. За стеклом стояли ряды книг. Яркие обложки. «Как стать успешным». «Как обрести гармонию». «История великой империи». Я знала, что если зайти внутрь, я найду там книги Дворкина. Книги последователей моего отца. Они стоят на полках «Психология» или «Религия». Они продаются легально. Яд продается как лекарство.

Я прижалась лбом к холодному стеклу. Я вернулась домой, но дома больше не было. Мой дом был оккупирован. Не вражескими солдатами. А идеями. Идеями, которые проросли сквозь стены, сквозь книги, сквозь дружбу.

Я достала телефон. Открыла чат с мамой. «Ты прилетела? Всё хорошо?» — писала она. Я начала набирать ответ: «Да, мам. Всё хорошо». Стерла. Набрала: «Я была у Лены. Мы поссорились». Стерла. Набрала: «Я люблю тебя». И отправила.

Потому что это было единственной правдой, которая у меня осталась. Любовь. Та самая любовь, которую отец пытался превратить в инструмент контроля. «Насильственная забота». Но любовь не может быть насилием. Если это насилие — это не любовь. Это владение.

Я поняла, что мой отец не любил нас. Он владел нами. Как владел словами, как владел смыслами. Мы были частью его инвентаря. Его коллекции. И когда я вышла из-под контроля, я перестала быть дочерью. Я стала проблемой.

Я пошла дальше, к своему дому. В кармане плаща я сжимала флешку с архивом. Мой маленький, жалкий арсенал против империи лжи. Что я могу сделать с этим?

Опубликовать? Марк скажет: «Фейк». Лена скажет: «Провокация». Они не поверят. Они не захотят верить. Потому что поверить мне — значит признать, что их жизнь — это иллюзия. Что они — соучастники. Никто не хочет быть соучастником. Психика будет защищаться до последнего.

Я вспомнила эксперимент Аша. Если все вокруг говорят, что черное — это белое, ты тоже скажешь «белое». Просто чтобы не быть изгоем. Мой отец построил общество Аша. Общество тотального конформизма.

Я подошла к своему подъезду. Достала ключи. Домофон пискнул. Знакомый, родной звук. Я вошла в лифт. Нажала кнопку своего этажа. Зеркало в лифте отразило моё лицо. Мокрое от дождя, бледное, с темными кругами под глазами. Я смотрела на себя и видела черты отца. Тот же лоб. Тот же подбородок. Я — его продолжение. Но я — сбой в его программе.

Я вошла в квартиру. Тишина обрушилась на меня. Я не стала включать свет. Прошла в комнату, села на диван, не снимая плаща. В темноте мигал огонек роутера. Зеленый. Связь есть. Я подключена к сети. Я сидела и слушала, как шумит город за окном. Гул машин. Сирены. Голоса. Это был звук работающего механизма. Огромного, смазанного кровью и ложью механизма, который перемалывает время и людей. И я была внутри него. Не наблюдателем. Не судьей. А деталью, которая вдруг осознала себя и захотела остановить движение.

Но может ли одна шестеренка остановить завод? Скорее всего, её просто срежет. Или заменят. «Незаменимых нет», — любил говорить отец.

Я закрыла глаза. Передо мной всплыло лицо Марка. Его уверенная, спокойная улыбка. «Вопрос гигиены». Я поняла, что мне не победить их в споре. У них есть аргументы. У них есть цитаты. У них есть большинство. У меня есть только папка с бумагами и чувство тошноты.

Но эта тошнота — мой компас. Пока меня тошнит от их «нормы», я жива. Пока я не называю цензуру гигиеной, я человек. Я встала, подошла к чемодану. Расстегнула молнию. Достала папку с надписью «Волков А.В.». Положила её на стол. Включила настольную лампу. Круг света выхватил из темноты заголовок верхнего документа: *«О необходимости унификации понятийного аппарата в сфере общественной безопасности»*.

Я села за стол. Я была дома. Но это был дом, построенный на болоте. И сваи этого дома гнили. Я слышала, как трещат стены. Никто больше не слышал. Все спали, пили вино, смотрели сериалы. А я слышала треск.

Я взяла ручку. Я не знала, что буду делать завтра. Но я знала, что я не буду молчать. Даже если меня услышат только стены. Даже если мой голос будет тоньше писка комара на фоне рева турбин.

Я открыла ноутбук. Экран засветился, озаряя комнату призрачным голубым светом. Я создала новый файл. И начала писать. Не для Лены. Не для Марка. Для себя. Чтобы не забыть, что черное — это черное. Чтобы сохранить рассудок в мире, где безумие стало нормой.

За окном проехала полицейская машина. Синяя вспышка мигалки пробежала по потолку. «Мы защищаем вас», — говорила эта вспышка. «Я знаю, от кого вы нас защищаете», — ответила я ей мысленно. «Вы защищаете нас от нас самих. От нашей свободы. От нашей совести».

Я посмотрела на фотографию отца, стоявшую на полке. Он улыбался.

— Ты проиграл, папа, — сказала я вслух. Мой голос прозвучал глухо и неуверенно в пустой квартире. Но я повторила тверже: — Ты проиграл. Потому что я знаю. И я не одна. Где-то есть другие. Такие же «сбои в системе». И мы найдем друг друга.

Я вспомнила слова из статьи о «желтых звездах». Стигма работает только тогда, когда общество принимает её. Если мы откажемся видеть в людях «иноагентов» и «сектантов», если мы будем видеть в них просто людей — магия исчезнет. Ярлыки отклеятся.

Это будет долгая работа. Тихая, незаметная, опасная работа. Работа сапера, который разминировает поле, засаженное собственным отцом. Но я готова. Я вернулась домой. И теперь я здесь не гость. Я — хозяйка своей памяти. И я начинаю уборку.

Я подвинула к себе клавиатуру. Первая фраза далась с трудом, словно я вытаскивала её из горла клещами. Но когда она появилась на экране, мне стало легче. Дышать стало легче.

«Меня зовут Александра. И я отказываюсь считать войну нормой».

Курсор мигал, как маяк в штормовом море. Я была дома. И война только начиналась. Не та война, которую придумал отец. А моя война. Война за право называть вещи своими именами.

Глава 16: Наследство

Я сижу на полу в центре комнаты, окруженная бумажными башнями. За окном московская ночь, густая и влажная, пропитанная светом фонарей и шумом проспекта, который никогда не спит. Но здесь, внутри, время течет иначе. Оно застыло, спрессованное в папки, файлы, вырезки и рукописные заметки.

Последние три дня я почти не ела и не спала. Я занималась тем, что умею лучше всего — структурированием хаоса. Мой отец всю жизнь строил стены из слов, создавая лабиринты смыслов, в которых так легко заблудиться и потерять совесть. Я же теперь разбираю эти стены по кирпичику, маркирую каждый блок, взвешиваю его и заношу в каталог.

Передо мной лежит жесткий диск, на который я перенесла оцифрованный архив. На экране монитора светится сложная схема — граф связей, похожий на переплетение нервных окончаний или карту метрополитена в аду. Узлы, ребра, кластеры. «Лингвистическое программирование». «Легитимация через экспертное сообщество». «Технологии социальной стигматизации». «Теология подчинения».

Я смотрю на эту схему и вижу не просто историю одной семьи или одной страны. Я вижу анатомический атлас болезни. Болезни, которая не убивает тело сразу, но медленно, клетка за клеткой, заменяет живую ткань на рубцовую, пока организм не превращается в монолит, incapable чувствовать боль — ни свою, ни чужую.

Мой отец был талантливым хирургом, который решил, что ампутация — лучший способ лечения головной боли. И теперь я, его дочь, унаследовала его инструменты. Только я использую их не для того, чтобы резать, а для того, чтобы понять, как был наложен шов.

В углу комнаты работает телевизор. Звук выключен, но картинка мелькает, отбрасывая на стены синие блики. Я специально оставила его включенным. Это мой контрольный прибор. Я смотрю на экран, где беззвучно открывает рот очередной ведущий, где сменяются кадры хроники, графики и лица экспертов, и сверяю их с документами, лежащими у меня на коленях.

Совпадение — сто процентов.

Телевизор транслирует не новости. Он те самые формулировки, которые оттачивали в девяностые, теперь стали государственным языком. «Духовный суверенитет», «защита кода», «профилактика инакомыслия» — эти слова, когда-то бывшие маргинальными терминами из узкоспециальных записок, теперь отлиты в бронзе законов.

Я беру в руки фотографию. Она старая, черно-белая, с заломленным уголком. Отец сидит на веранде нашей дачи, в плетеном кресле. На коленях у него раскрытая книга, рядом стоит чашка чая. Он смотрит в камеру поверх очков — спокойно, немного иронично, с той мягкой полуулыбкой, которую я так любила в детстве. В этот момент он кажется воплощением мудрости и покоя. Человеком, который знает ответы на все вопросы.

Я помню этот день. Мне было двенадцать. Я бегала по саду, ловила бабочек, а он позвал меня и сказал: «Саша, не шуми. Я работаю над очень важным текстом. Это поможет многим людям разобраться, где правда, а где ложь». Я тогда притихла, преисполненная гордости. Мой папа спасает людей от лжи. Мой папа — герой.

Теперь я знаю, что именно он писал в тот день. В папке «1998 / Черновики» лежит статья, датированная тем же месяцем. В ней он обосновывал необходимость создания реестров «неблагонадежных организаций», аргументируя это тем, что «свобода выбора в условиях информационной войны есть уязвимость, а не достижение». Он сидел в солнечном саду, пил чай с мятой и конструировал клетку для миллионов умов.

Смотрю на его лицо на снимке. Я ищу в нем следы жестокости, безумия, фанатизма. Но их нет. Там только интеллект и усталость. Это самое страшное в моем наследстве. Понимание того, что зло не обязательно носит маску монстра. Оно может носить лицо любимого человека. Оно может говорить голосом, который читал тебе сказки. Оно может пахнуть дорогим табаком и старой бумагой.

Мой отец не был садистом. Он не получал удовольствия от чужих страданий. Он просто считал их неизбежными издержками производства. Он был технологом. Инженером. Если для устойчивости конструкции нужно залить в фундамент живых людей — он делал это, не потому что ненавидел людей, а потому что любил устойчивость.

Я провожу пальцем по глянцевой поверхности фотобумаги.

— Папа, — шепчу я. — Как ты мог жить с этим? Как ты мог спать? Ответа нет. Только синие отсветы телевизора пляшут на его лице, придавая улыбке зловещий оттенок.

Я понимаю, что он спал прекрасно. Потому что у него была великая защита — идея «Так было нужно». Эта фраза была его броней, его индульгенцией, его молитвой. Она превращала любое преступление в подвиг, любую подлость — в государственную необходимость.

И теперь эта фраза — часть моего наследства. Она звучит у меня в голове, когда я вижу несправедливость и молчу. Когда я думаю: «Лучше не вмешиваться, целее буду». Когда я пытаюсь рационализировать свой страх. Я унаследовала не только его архив. Я унаследовала его искушение. Искушение порядком. Искушение простотой. Искушение снять с себя ответственность и передать её кому-то большому и сильному — Системе, Истории, Богу.

Я встаю и подхожу к окну. Стекло холодное. Внизу, на мокром асфальте, отражаются огни машин. Люди едут домой, к своим семьям, к своим телевизорам. Они живут внутри реальности, которую спроектировал мой отец и его коллеги. Они используют его слова, чтобы объяснять своим детям, почему мир жесток и почему нужно бояться чужих. Они не знают имени архитектора. Им не нужно имя. Им удобно в этом здании, даже если в нем нет окон, а двери открываются только внутрь.

Что я могу сделать? Я одна. Я могу отказаться быть частью этого механизма. Я могу стать песчинкой, которая не подходит ни к одной шестеренке.

Я возвращаюсь к столу. Беру папку с надписью «Методология». В ней собраны инструкции по расчеловечиванию. Пошаговые руководства: как превратить оппонента в «зомби», как сделать соседа «агентом», как объявить инакомыслие патологией. Я знаю эти методы наизусть. Я вижу их применение каждый день. И именно потому, что я их знаю, они на меня больше не действуют.

Это и есть мое настоящее наследство. Иммуниетет. Отец, сам того не желая, сделал мне прививку. Изучив анатомию его лжи, я потеряла способность верить в неё. Я смотрю на экран телевизора. Там показывают сюжет о «врагах народа». Ведущий нагнетает истерию, голос дрожит от праведного гнева, используются те самые триггеры — «дети», «угроза», «святыни». Раньше я бы испугалась. Или разозлилась. Или почувствовала бы растерянность. Теперь я вижу только код. «Ага, — отмечаю я про себя. — Прием «смещение фокуса». Использование метафоры заражения. Апелляция к архетипу Защитника. Ссылка на псевдоэкспертное мнение».

Магия исчезла. Я вижу ниточки, за которые дергают кукол. Я вижу картонные декорации. Я вижу суфлера в будке. И мне не страшно. Мне холодно, горько, противно, но не страшно.

Я закрываю папку. Моя борьба будет ежедневной. Это будет борьба за сохранение имен. За сохранение смыслов. Я буду называть вещи своими именами. Войну — войной. Подлость — подлостью. Страх — страхом. Я буду хранить этот архив как доказательство. Как «черный ящик» разбившегося самолета. Когда-нибудь, когда морок рассеется (а он рассеется, потому что любая ложь конечна), люди спросят: «Как это случилось? Кто это сделал?» И тогда я достану эти папки. Я скажу: «Смотрите. Это не было стихией. Это не было наваждением. Это был проект. Вот чертежи. Вот сметы. Вот подписи».

Я смотрю на стопки бумаг. Теперь они не давят на меня. Они — мой балласт, который не дает мне улететь в небо пропагандистских фантазий, удерживает меня на грешной, твердой земле фактов.

Внезапно телефон на столе вибрирует. Сообщение от мамы. «Сашенька, ты спишь? Я тут смотрела новости, так страшно... Говорят, кругом шпионы. Ты там осторожнее, не болтай лишнего на работе. Времена сейчас такие... Так нужно, наверное, чтобы порядок был».

Я читаю эти строки, и сердце сжимается от острой жалости. Мама. Она тоже жертва. Она живет в мире, который построил для неё отец. Она верит, что клетка — это крепость. Она повторяет его мантру: «Так нужно». Я не могу её спасти. Я не могу открыть ей глаза — свет правды слишком ярок, он ослепит её, причинит боль. Но я могу не дать ей утянуть меня туда, в эту уютную тьму.

Я набираю ответ. Медленно, взвешивая каждое слово. «Мам, не бойся. Шпионов нет. Есть просто люди. И я тебя люблю. Спи спокойно». Я не спорю. Я не соглашаюсь. Я просто даю ей немного тепла, не отравленного идеологией. Это максимум, что я могу сейчас сделать.

Я откладываю телефон. В комнате душно. Нужно открыть окно, впустить этот влажный, шумный городской воздух. Я подхожу к балкону. Распахиваю дверь. Шум проспекта врывается внутрь, заглушая гудение компьютера. Где-то там, в лабиринте улиц, живут миллионы людей. Кто-то из них сейчас пишет донос. Кто-то подписывает приговор. Кто-то просто спит, устав от бесконечной тревоги. А кто-то, возможно, так же, как я, сидит на кухне и смотрит в стену, пытаюсь понять, как остаться человеком.

Мы невидимы друг для друга. Система сделала всё, чтобы разобщить нас, чтобы каждый чувствовал себя одиноким сумасшедшим. Но мы есть. Я знаю это, потому что статистика — наука точная. Невозможно зомбировать всех. Всегда остается процент погрешности. Те самые «лабильные элементы», о которых с презрением писал отец. Я — этот элемент. Я — погрешность. Я — сбой.

Я возвращаюсь к фотографии отца. Беру её в руки в последний раз перед тем, как убрать в ящик.

— Я люблю тебя, папа, — говорю я вслух. — Я люблю того, кто учил меня плавать. Кто привозил мне брелоки из Парижа. Кто гладил меня по голове, когда я болела. Голос дрожит, но я продолжаю. — Но я ненавижу того, кто написал эти тексты. Я ненавижу Эксперта. И я потрачу свою жизнь на то, чтобы разрушить твоё дело. Это мое прощание. Я разделяю их. Окончательно. Отец остается в моем сердце — теплым воспоминанием, болью, утратой. Эксперт остается в папке «Материалы дела» — объектом исследования, примером того, как интеллект без совести становится чудовищем.

Я кладу фотографию в стол. Задвигаю ящик. Звук резкий, как выстрел. Всё. Архив систематизирован. Диагноз поставлен. Лечения пока нет, но есть протокол выживания.

Я оглядываю комнату. Бумажные башни больше не кажутся угрожающими. Это просто макулатура. Прошлое, которое пытается управлять будущим. Но будущее

еще не написано. Оно пишется сейчас, в этот момент, моим решением не подчиняться.

Мой взгляд падает на телевизор. На экране — крупный план лица какого-то чиновника. Он говорит убедительно, страстно. Его глаза горят фанатичным огнем (или это просто грамотно выставленный свет?). Внизу бегущей строкой ползут тревожные заголовки. Этот поток не останавливается ни на секунду. Он льется в уши, в глаза, в души, заполняя пустоты, вытесняя сомнения, цементируя страх. Это пульс системы. Пока он бьется, война продолжается.

Я нажимаю кнопку. Экран гаснет. Синие блики исчезают со стен. Лицо чиновника растворяется в черноте. Бегущая строка обрывается на полуслове. Комната погружается в полумрак.

Тишина. Сначала она кажется оглушительной. Непривычной. Пугающей. В ней нет готовых ответов. В ней нет успокаивающего голоса, который говорит, что все идет по плану. В ней есть только я и моя ответственность. Но постепенно я начинаю различать в этой тишине другие звуки. Шум дождя за окном. Дыхание спящего города. Стук моего собственного сердца.

Тик-так. Тик-так. Это не время уходит. Это время приходит. Мое время. Я сижу в темноте, и мне впервые за многие месяцы спокойно. Я дома. И я больше не боюсь.